

ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ
СВЕНЦИЦКИЙ

ИЗБРАННОЕ



КЛАССИКА РУССКОЙ
ДУХОВНОЙ ПРОЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Валентин Павлович Свенцицкий
Избранное
Серия «Классика русской духовной прозы»

Текст книги предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11311044
Избранное: Нижея; Москва; 2014
ISBN 978-5-91761-342-0

Аннотация

Протоиерей Валентин Свенцицкий (1881–1931) – богослов, философ и духовный писатель. В сборник вошли произведения, написанные о. Валентином до его рукоположения. «Второе распятие Христа» – фантастическая повесть о пришествии Христа в современный мир. За неполные два тысячелетия, прошедшие после евангельских событий, на земле мало что изменилось. Люди все так же не верят Христу, не понимают смысла Его заповедей. Никем не признанный, Он снова предается суду.

Роман «Антихрист» по стилю и по проблематике очень близок к произведениям Достоевского. Главный герой признается в своей порочности, но не стыдится ее. Он с интересом изучает темную, «антихристову» сторону своей личности, оправдывая собственную безнравственность принципом «Избегающему искушений не узнать святости».

Содержание

Предисловие	4
Рассказы	7
Христос в детской	7
Темной ночью	12
Побег	16
Назначение	20
Из дневника «странного человека»	32
Второе распятие Христа	35
I	35
II	37
III	40
IV	42
V	44
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Валентин Павлович Свенцицкий

Избранное

Предисловие

Духовный реализм

Мировоззрение богослова, философа, общественного деятеля, публициста, прозаика и драматурга Валентина Павловича Свенцицкого (1881–1931) сформировали христианство, идеи В. С. Соловьева, творчество Ф. М. Достоевского и этика И. Канта; с 1898 года юноша духовно окормлялся у прп. Анатолия (Потапова) Оптинского.

В 1905 году Свенцицкий создал первую в России христианскую политическую организацию, многие чаяния которой воплотил Поместный Собор 1917–1918 годов; был организатором Московского религиозно-философского общества. В печати и с кафедры обличал преступления евангельских заповедей в государственных и церковных делах, языческий цезарепапизм, хилиазм и социалистическую утопию, нищезанятие и толстовство, либеральные и черносотенные подделки под Христа.

С 1909 года Свенцицкий участвовал в движении голгофских христиан, ставя целью пробудить сознание народа к религиозному творчеству и считая, что вся живая жизнь должна объединиться вокруг храма.

В 1917 году был рукоположен во иерея, а год спустя стал проповедником Добровольческой армии, призвав обезумевший народ к покаянию и борьбе с бесовской силой большевизма. Только в Церкви видел нравственный фундамент обустройства России.

В 1920-х годах о. Валентин служил в Москве. За противодействие обновленчеству был выслан в Таджикистан, где составил практическое руководство по постижению молитвы Иисусовой. По возвращении, будучи настоятелем храма Свт. Николая Чудотворца на Ильинке, проводил с общиной беседы о монастыре в миру – духовной преграде внешним соблазнам и борьбе со страстями.

В 1928 году за поддержку иосифлянства был сослан в Красноярский край, где написал итоговый труд «Диалоги», и по сей день приводящий в Церковь взыскующих Истины. Перед смертью от абсцесса печени, не изменив мнения о «компромиссах, граничащих с преступлением», признал митрополита Сергия (Страгородского) законным первым епископом и получил прощение. Скончался 20 октября 1931 года. Доставленное в Москву тело на отпевании 9 ноября при огромном стечении народа было обнаружено нетленным. Покойся на Введенском (Немецком) кладбище.

* * *

Искушенный должен помочь искушаемым (см.: Евр. 2:18), и Свенцицкий должным образом именовал сущности духовного мира, публично исповедуясь в грехах своих и своего поколения, дабы сообща избавиться от рабства страстей. И по Божией милости смог изменить свое существо. В священстве о. Валентин стяжал дары благие и вразумил многие мятущиеся души.

Роман-исповедь «Антихрист» вскрывает механизм проникновения греха в сердце. Это страшное откровение, но бороться легче, если ведомы повадки противника. Книга учит, как признать в себе безобразного двойника и отделить, поняв, что он – не я.

Свенцицкому удалось пережитое душой выразить в образах с такой силой, что большинство читателей поверили в действительность событий. Да, это происходило... только не всегда на примитивном материальном уровне. Духовный реализм – так надо определять художественный метод достойного продолжателя Достоевского. Случилась редчайшая в искусстве вещь: творческое создание через органическую связь с душой автора облеклось в плоть и кровь. Здесь не клюквенный сок – в настоящем бою за жизнь вечную страдает сердце человеческое.

Уловленный в сети, но распознавший обман, герой прибегает к единственному целительному средству – Спасителю грешных. Описание сражения на молитве не имеет равных в художественной литературе. Духовная борьба доходит до высшего напряжения, когда смятый, но не отчаявшийся человек по-детски доверчиво взывает о помощи, а рядом хихикает палач: издевается, блазнит и бьет наотмашь. «Это враг Твой искушает меня» – в сей мысли надо утвердиться, чтобы выстоять. Кто не пожалеет душу свою и отсечет гниль – тот победит.

Узрите в себе двойника и возненавидьте всем сердцем, призывает прошедший тяжкое испытание автор. Ведь он возымел дерзновение откровенно сказать о том, что люди переживают втайне, одолел в себе врага и осознанно избрал Господа Богом. Потому настойчиво подводит к главной мысли – все описанное совершается в каждой душе. Антихрист растет в тебе, читатель, убивает тебя!

Идея бессмертия – центральная в «Записках». Оно должно быть, иначе жизнь не имеет смысла – все сгниет, все пойдет прахом... Гроб не страшен, если впереди вечность, но он очевиден, а утвердиться в невидимом не хватает сил, потому и мучается герой и молит о вере. Христианство – его оружие в борьбе с вызывающим ужас и отвращение призраком смерти. Чтобы победить ее, надо обладать «высочайшей любовью, Божественной красотой и абсолютной истиной». А еще – самому умереть... И воскреснуть! «Бессмертие – не мечта, жизнь – мечта, если нет бессмертия». Эти слова должны стать крылатыми, потому что возносятся над бездной отчаяния и небытия.

Но надлежит явиться и Антихристу – воплощению человеческого страха, безобразия и разрушения. Обезумевший мир готов покончить самоубийством, лишь бы доказать независимость от Создателя. Бог требует подвига исправления и обличает зло, потому будет отвергнут. И тогда придет другой...

Свенцицкий выразил суть атеистического экзистенциализма, показав направленность его к ничто. Если Бог умер, неизбежно воцаряется Антихрист – в душе и в мире. Если смерть – единственная реальность, устремление к ней становится целью бытия. Сознание своей конечности во времени, противоречащее природе души, выливается в мятеж против всего мироустройства, против самой жизни. Потеря исконного смысла заставляет искать новый. Бунт оборачивается рабством, призыванием нового господина... Свенцицкий нашел выход из умственного тупика, составил подробный план лабиринта и описал маски губителя душ, грызущего нас изнутри. Жуток вид гусеницы с лицом человеческим, но отвращение ко греху рождает жажду исцелиться.

Не фантазия, но высшая реальность и «Второе распятие Христа», где «все записал о. Валентин без художеств и психологизмов» (Ю. В. Давыдов). Именно записал – как свидетель свершившегося. А в завершение предрек гибель внутренне сгнившей империи.

Тугой узел повествования – спор о Церкви. Подчинившаяся земным царям и потерявшая даже имя организация возомнила себя господствующей... Поправшие идеал соборности, извратившие смысл заповедей, погрязшие в роскоши главенствовали в ней. А управлял механизмом безличный монстр по кличке «государство».

Неужели Церковь Христова уничтожена князем мира сего? Никак. Она там, где любовь, правда и таинственное благодатное общение. А значит, нет в ней псевдопатрио-

тов, которыми правит ненависть, нет потерявших совесть судей, нет властителей и богачей, разоряющих страну и развращающих тотальной ложью, нет священников, благословляющих беззаконие, нет трусливо молчащих. Церковь там, где в простоте сердечной не отвергают голгофский путь, зная, сколь жестоко отомстит мир за выполнение заветов Господних. И другого исхода нет: или со Христом на муки и подвиг, или против – тогда почет и жизнь в хорах. Человек свободен, но обязан выбирать.

Символ повести – встреча крестного хода с ведомым на казнь Спасителем... Масштабно поставленная сцена принесла бы славу кинорежиссеру; красочное и детальное описание вошло бы в хрестоматию. Свенцицкий же передает событие по-евангельски, в двух лаконичных предложениях.

Сходство «фантазии» с поэмой «Великий инквизитор» только внешнее. Там безымянный персонаж молчит, лишь совершает чудеса. Иисус Христос в Москве обличает отступников, отвечает страждущим, несет евангельскую весть: простые и ясные слова гремят как гром и жгут как огонь, глубоко западая в сердца. Но отнюдь не все узнают Бога, только чистые сердцем следуют за Ним, публика же стоит в отдалении, а панически бегущие от Него давят друг друга, как дикие звери.

Карамазовский инквизитор выпускает пленника... Как бы не так! Мир ненавидит Христа и будет гнать, пока не убьет. А иначе Пришедший – не Бог. Через всю земную историю прошел Он, и всегда повторялось одно – Крест, позорная смерть и Воскресение. Если истинно веруем, что Пасха – событие вселенское и ежегодное, должны признать: Он и умирает по-настоящему. Мы во всякое время и на всяком месте распинаем Бога грехами своими, а Он страдает за нас и проливает Пречистую Кровь. На Руси – в любимой березовой роще, в венце из крапивы. И снова несем Ему вербовые веточки, и снова кладем во Гроб по доносу синедриона и предписанию кесаря, и опять воскресает Господь...

С. В. Чертков

Рассказы

Христос в детской

У маленького Коли случилась большая неприятность: раздавился заводной гусар.

Вечером он положил его с собою спать, утром забыл совсем, нечаянно облокотился рукой, и гусар «раздавился».

Когда Колю вместе с шестилетней сестрой Олинкой вели умыться, он шел, мрачно уставившись в пол, и успел шепнуть:

– Я решил скончаться от разрыва сердца...

Олинька вскинула на него круглые голубые глаза, перевела их на няню, потом молча обхватила Колинку ниже пояса, прижалась к нему беленькой головкой и заплакала во весь голос.

Няня накинулась на Колю:

– Ах ты озарь эдакий! Трогала она тебя, свистуна, трогала? Пойди ко мне, деточка... пойди ко мне, маленькая...

Но Олинька мотала головой и, красная вся от плача, крепче и крепче прижималась к Колинке.

– Да ты что? – обратилась к нему няня.

Олинька затихла, но не отрывалась и, видно, ждала, что он скажет.

– Ничего... – надув губы, шептал Коля.

– Как ничего! Подрались, что ли? Олинька, обидел он тебя?

Но Олинька упорно молчала. Так няня ничего и не добилась. Начала умывать их. Весело было подставлять лицо и шею под светлую, холодную струю – сразу забылись все неприятности.

«И потом, голова у него еще держится», – подумал Коля, обтираясь полотенцем.

Ему стало совсем хорошо. Он бросил полотенце на руки няни, и не успела она опомниться, как Коля уже не было в комнате.

– Ну уж сорванец, ну уж свистун, – ворчала няня. И принялась причесывать беленькие волосы Оли.

Олинька стояла покорно, но всей душой стремилась за Колинкой и потому улыбалась, косила глаза и размахивала руками.

«Скорей бы все кончилось, – думала она. – Богородицу... хлеб с молоком... потом настоящее...»

Няня кончила причесывать и позвала Колю.

– Завтра Пасха, – сказала она, – «Христос воскрес» надо учить.

– Я Христа воскреса видел – на стене висит, – сказал Коля, вертя головой в разные стороны и надувая то одну, то другую щеку.

– Как ты нехорошо говоришь, – остановила его няня. – «Христа воскреса» – разве так говорят умные дети? Воскресение Христово... Христос воскрес...

– Это как Он? – переставая шалить, спросил Коля.

– Как воскресают?... Распяли на кресте, в гроб положили и стражу приставили, запечатали – а Он через три дня воскрес.

– Совсем?

– Нехорошо как говоришь, – снова сказала няня.

– Нет, право, нянечка, совсем?

– Учись-ка вот лучше.

И няня стала читать молитву и заставляла детей повторять за собой.

Олинька выучила почти сразу. А Коля все путал.

– Ветер – ветер и есть, – сказала ему няня и покачала головой.

Дети наскоро выпили в столовой теплого молока с хлебом, побежали в детскую и первым делом занялись гусаром. Разложили на полу коврик и уселись с Олинькой осматривать игрушку. Ноги гусара отвалились и едва держались на тонкой проволочке. Когда спускалась пружина, они беспомощно болтались в воздухе. У Колиньки пропала последняя надежда спасти гусара. Он опять мрачно уставился в пол. Олинька боязливо посматривала на него, готовая расплакаться, и только ждала, когда начнет Коля.

В это время вошла няня.

– Нянечка, мой гусар скончался, – грустно сказал Коля.

– Глупости говоришь.

– Право! Ноги отвалились, и он скончался от разрыва сердца.

– Уж и язык, прости Господи. И в кого, не знаю: отец, кажется, хороший человек, мать тоже из хорошего дома взята.

– Да, право же, нянечка! Сама посмотри...

– И смотреть нечего. Умирают люди. А игрушки ломаются.

– А почему игрушка не может умереть?

– Отвяжись ты. Щетки вот никак не найду.

– Нянечка, что значит «умер»?

– Глупости все спрашиваешь.

– Нет, право, нянечка.

– Умер? Жить перестал.

Коля задумался и решительно сказал:

– Не может быть!

– Уж где с тобой сговорить, – ворчала няня, – без году неделя живет – все знает.

– Нянечка, завтра Христос воскрес – а ты бранишься.

Няня рассмеялась:

– Что ты с ним будешь делать! Да я разве браню тебя? Рано, только, рассуждать стал – вот и говорю. Я молода была – так не рассуждала.

– А как?

– Да никак... Лучше бы гулять пошли, чем глупости-то все говорить.

– Можно, нянечка?!

– Возьмите Агашу да и ступайте.

День был солнечный, теплый, весенний. И хотя детей закутали с ног до головы – свежий, ласковый ветер невольно заставлял смеяться от радости.

После комнаты все казалось новым, ярким, сияющим.

Коля не знал, куда смотреть, – небо такое голубое, так славно загнуть голову и не видеть ничего перед собой, кроме голубого поля, и голуби на крыше совсем ручные – один белый и два сереньких, у ворот мохнатая, черная собака, а посреди двора мальчишки делают запруду.

Колиньке хочется прыгать от радости, только шуба такая тяжелая, противная. И зачем-то калоши надели. Он берет Олиньку за руку и тянет ее:

– Давай бегать.

И они бегут в своих тяжелых шубках, смеясь и щурясь от солнца.

Мальчишки бросили запруду и смотрят на них.

– Идите к нам! – кричит им Коля.

Ему весело. И хочется, чтобы все были вместе. Игнали бы и смеялись.

На крыльцо вышла няня. Коля увидел ее. И, задыхаясь от быстрого бега, бросился к ней.

– Нянечка, нянечка, Христос воскрес!

Няня поправляет ему платок на голове. Не сердится. А тоже улыбается.

– Домой пора, ишь, мокрый стал.

– Сейчас, нянечка, – Олиньку позову.

Он идет назад и все оглядывается на няню, и все улыбается ей.

Уходить не хочется. В комнатах так темно. Но Коля послушный, ласковый. Он берет Олиньку за руку, последний раз оглядывает голубей, двор, небо и медленно идет домой.

Вечером няня решила уложить детей пораньше, чтобы успеть все приготовить к завтрашнему дню.

Но как нарочно Коля раскапризничался и никак не соглашался спать. Заразил своими капризами и послушную всегда Олиньку.

– Нехорошо так, – сказала няня, – сегодня день-то какой – Великая суббота, завтра праздник, а ты смотри-ка что делаешь.

– Нянечка, – неожиданно сказал Коля. – Что значит «распяли»?

– К кресту прибили.

– Как прибили?

– Руки и ноги.

– Чем?

– Гвоздями.

Коля замолчал и тихо сказал:

– Я больше не буду, нянечка.

Няня повела детей к иконам – молиться.

Икон в углу висело много. Посредине, около самой лампадки, «Воскресение Христово»: из гроба восстал Христос, а воины в страхе припали к земле. Особенно страшен был один: спина выгнута дугой, руками схватил себя за шею и почти распластался по земле. Коля не любил его и раньше всегда боялся его.

Дети встали на колени. Олинька искоса посматривала на Колю и старалась делать все, что и он. Няня говорила молитву вслух.

Коля перекрестился и положил земной поклон. Прикоснулся лбом к полу. Пол был холодный. Это заинтересовало его, и он не разогнулся, а так и остался на полу. Вспомнил воина на иконе, и стало страшно: если поднимусь, что-нибудь случится. От холодного пола еще страшней, но Коля до боли прижимается головой и зажмуривает глаза.

– Колинька, – сказала няня, переставая говорить молитву, – ты спишь, верно? – она взяла его за плечо.

Страх сразу слетел. Колинька радостно посмотрел на освещенные иконы:

– Нет, нянечка.

– Ну так молись как следует.

– Как хорошо, нянечка, что воскрес... Я бы тоже так сделал...

– Будет уж, будет, стрекоза... перекрестись и поклон земной... вот так!.. Ну, а теперь спать.

Колинька больше не капризничал и дал себя раздеть. Даже сам помогал няне.

Забился под одеяло, в холодную простыню, и, пока няня раздевала Олиньку, все крепил подушку, потихоньку, чтобы незаметно было.

Няня поправила лампадку, спустила занавески, еще раз подошла к детям.

Они лежали тихо. Няня ушла...

– Ты спишь? – шепотом сказал Коля.

– Нет, – тихонечко ответила Олинька со своей кровати.

– Сейчас Он воскресает.

Олинька молчала.

– Ты что? Боишься? – спросил Коля.

– Да, – чуть слышно прошептала Олинька.

– Совсем не страшно... Знаешь, давай с тобой тоже...

– Что?

– Воскреснем.

– Как?

– Пойдем к иконам. Ляжем на пол и потом воскреснем.

Олинька не отвечала.

– Ну?

– Я боюсь.

– Смотри, совсем не страшно.

И Коля спрыгнул с постели. Закутался в одеяло и пошел к иконам.

– Право, не страшно. Иди!

Олинька нерешительно спустила с постели ноги, тоже накинула на себя одеяло и пошла к иконам.

– Одеяло у нас вместо гроба будет, – сказал Коля. И положил одеяло на пол.

Но в это время тихо отворилась дверь. Дети со страхом прижались друг к другу... Колинька первый узнал Христа и бросился Ему навстречу. За ним робко пошла Олинька.

– Я весь день о Тебе думал, – задыхаясь от восторга, сказал Коля.

Христос сел и обнял детей.

– Я весь день о Тебе думал, – быстро говорил Коля, – как Тебе больно было. И гвозди... А потом воскрес... Как хорошо!.. Так всегда надо. Пусть распинают. По-ихнему не выйдет... Я ведь так говорю? Я не боюсь, – изо всех сил спешил Коля, не дожидаясь ответа, – а вот она боится.

Олинька застыдилась и тихо прижалась головой к руке Христа.

– Ты к нам всегда будешь приходить? – спросил Коля.

– Буду.

– Ночью?

– Ночью.

– Это хорошо, что ночью – никого нет. Ты все скажешь? Ты все знаешь?... Мне гусара жалко, он раздавился утром... нечаянно... и потом умер от разрыва сердца... Я очень любил его... Жалко...

Коля замолчал. Взял Христа за руку – посмотрел.

Потом перевел глаза на Христа – и заплакал.

Христос молча гладил его по волосам.

Колинька все затихал, затихал и вдруг обнял Его, прижался к Нему и, пряча лицо в белых Его одеждах, проговорил:

– Миленький мой. Господи... как больно-то Тебе... не хочу я... не надо так...

Олинька не плакала и все целовала руку Христа.

– Ты не уйдешь от нас? Не уйдешь? – говорил Колинька. – Ты навсегда к нам? Да?

– Да, – сказал Христос.

– И больше не будет так, да?

Христос молчал.

– Вот что тогда, – решительно сказал Коля. – Пусть у всех! И у меня, и у няни, и у мамы – у всех. Пусть одинаково. Пусть всем больно. Хорошо?! Да?

Христос тихо наклонил голову.

Коля поднял свои руки и увидел, что они обе пробиты гвоздями.

– Смотри, смотри, – весь затрепетав от восторга, воскликнул Коля, – и у меня!

Он схватил руку Олиньки, и на ее руках были раны:

– У нее тоже! Видишь? Значит, у всех? Олинька, мы тоже воскреснем! Господи... миленький мой... Как хорошо-то, как хорошо-то!..

Колю разбудила няня. Только что пришла от заутрени. Уронила яйцо нечаянно на пол.

– Ты что, нянечка?... – сквозь сон сказал Коля.

– Спи, спи, родной... Из церкви вот пришла.

– Христос воскрес, нянечка...

– Воистину воскрес... спи, родной мой, спи...

1912

Темной ночью

Никогда еще дедушка Еремеич не ловил в свои вентеры¹ такого количества рыбы.

Впрочем, и время было самое рыбное – начало мая.

Волга залила левый берег, потопила луга и леса, врезалась на десятки верст ериками – быстрыми, глубокими весенними речками, которые уйдут назад, когда сбудет вода, образуя узкие пересохшие овраги.

По этим ерикам весной заходит в озера рыба: щука, лини, окуни и особенно сазаны. Сазан мечет икру на мелких местах и входит в ерик, чтобы найти широкие поляны, залитые водой.

Еремеич еще с утра перегородил вентерями несколько ериков и на закате поехал подымать их. Лодка у него была самодельная, старая, вся в заплатках. Весла короткие. Сам он шершавый, обросший беспорядочными седыми волосами. На селе держался Еремеич особняком, жил бедно, перебивался кое-как рыбной ловлей. Ездил за рыбой всегда один, за это так его и прозвали «бобылем»...

Лениво шлепая веслами, проехал Еремеич по течению мимо рыбацкого стана, завернул за песчаный бурун и въехал в пенистый ерик.

Вода шла быстро, нагибая мягкие прутья затопленных кустов; молодые, весенние листья даже вечером казались ярко-зелеными; теплый, душистый воздух смешивался с прохладными струями лесной сырости. Лодку гнало весело по течению, покачивая из стороны в сторону. Еремеич сложил весла и только отталкивался, когда лодку прибывало к затопленному дереву.

В узком проходе, сжатом высокими крутыми берегами, где вода шла особенно быстро, торчали три длинные палки: это стоял первый вентерь.

Еремеич схватился рукой за ближайшую палку. Лодку быстро повернуло на одном месте, борт почти зачерпнул воду, но Еремеич держался крепко. Осторожно перебирая, подвел лодку к берегу и начал подымать «крылья». Сначала одно крыло с палкой положил в лодку, потом другое. И не успел еще взяться за третью палку, чтобы вытащить матню², как рыба уже забилась, заплескалась в воде. Он нагнулся, красными, мокрыми руками раскачал третий, самый длинный, кол и стал вынимать вентерь. Вот на поверхности показались круглые бока сетки, в нее запуталось несколько мелких, белых рыбешек «густерок», как презрительно называют их рыбаки, вот плеснулась темная спина линя, острая морда щуки уткнулась в разорванную сеть, и наконец Еремеич увидел главную свою добычу – крупных сазанов, как на подбор, один к одному. Едва втащил он полную матню в лодку. Руки его ослабли от холодной воды и неожиданной удачи. Он путал сетку, топтал ее неуклюжими сапогами и неловко протаскивал через узкое горло матни скользкую, трепетавшую рыбу.

Еремеич бросал ее на дно лодки, не считая, но опытный глаз сразу делал нужный ему подсчет. Сначала выбрал он мелкую «густеру». «Ну, эта себе на уху пойдет...» Потом щук – «щуки икрыные, рубля на два всей-то будет». Потом стал тащить мягких упругих линей... «Тоже рубля на два наберется...» И наконец принялся за сазанов. Сазаны лежали спокойно, но при малейшем прикосновении резко бились сильными хвостами и выскальзывали из рук. Он встал на колени на мокрое дно лодки и начал вынимать двумя руками. С трудом можно было просунуть широкую спину сазана в узкий ход матни, и Еремеич с особенным удовольствием каждую вынутую рыбу держал некоторое время на весу и потом уже кидал в лодку, подбрасывая немного вверх.

¹ Вентерь – рыболовная снасть-ловушка.

² Средняя часть невода в виде мешка, куда попадает рыба при ловле.

Но все это было начало удачи.

С каждым новым вентером лодка наполнялась все больше, Еремеич потерял счет и линиям, и щукам, и сазанам. Знал он только одно, что много. Так много, как не запомнит за все свое рыбацество.

Солнце спустилось за песчаный бурун. Против течения ехать было трудно. Еремеич стал торопиться домой. До Волги по ерику проехать надо было версты полторы, а там еще проехать Волгу на перевал, с парусом: ветер дул попутный, теплый...

Еремеич греб привычным равномерным взмахом, а сам все думал о рыбе: «Рублей на двадцать, а то и больше... Завтра базар – разом всю разберут... Продам, а к вечеру снова ехать надо. Демьяновым скажу – в Верблюжьем затоне был... пусть едут...»

Еремеич устал. Руки промерзли от холодной воды и теперь на теплом весеннем воздухе горели и ныли. Рыба, накрытая мокрыми сетками, успокоилась и только изредка билась о края лодки. Ерик становился все тенистей, небо серело и ближе придвигалось к земле. Вдруг по верхушкам деревьев пронесся тревожный, протяжный гул. Еремеич насторожился. Поднял голову. И приналег на весла. По течению ехать было незаметно, а теперь вода крепко обхватывала лодку и отбрасывала назад.

«Только бы до Волги дотянуться, – думал он, – там парусом живой рукой...»

Деревья шумели все протяжнее, все тревожнее. Темнеть стало резко, порывами. Вода в ерике отливалась стальным блеском и, казалось, еще стремительней ударяла в тяжелую лодку.

«Который день к вечеру ветер, – думал Еремеич и успокаивал себя: – А к ночи все разойдется. Как бы не пришлось на стану переждать».

И снова стал думать о рыбе.

«Сазан метать икру шел, к Дарьиной поляне пробирался... щука-то везде шныряет, а вот линия столько – диковинно... Не упомяну такого линия... Коли подвозу не будет, все три красеньких можно взять... Базар большой: на луга едут... А переждать придется», – снова с досадой подумал он, прислушиваясь, как бушевал ветер.

Деревья скрипели и раскачивались в разные стороны, даже тонкий тальник гнулся против течения. И по узкому ерику пошли неровные волны.

Выехал Еремеич в затон, когда уже совсем стемнело. Поехал вдоль самого берега.

«Нет, нельзя ехать через Волгу, – окончательно решил Еремеич, – пережду ветер на стану...»

Под песчаным буруном, где затон соединялся с Волгой, вспыхивал огонь.

«Не спят – уху, верно, варят...»

Еремеич плотней прикрыл рыбу, чтобы нельзя было видеть, сколько ее, и повернул лодку на берег. Волны подхватывали и мешали пристать. Рыбак Андрей Прокофьевич крикнул от костра:

– Еремеич?...

– Я.

– К лодке причаль...

Черная тень подошла к воде.

– Много наловил?

– Наловишь, – неохотно проворчал Еремеич, – вишь, погода.

Лодку кое-как привязал и выпрыгнул на берег.

– Ночевать будешь? – спросил Андрей Прокофьевич.

– Нет, домой надо, пережду ветер.

– Иди, грейся. Уху варим.

– Кто с тобой?

– Гришка.

Подошли к костру.

– Не переждешь, – говорил Андрей Прокофьич, – ветер ночной дует... Дня на два, смотри, подымется.

– Мне нельзя, – угрюмо ворчал Еремеич, вытягиваясь около костра, – к утру надо.

– О старухе соскучился, – засмеялся Гришка.

– Да, о старухе... Много наловили?

– Есть, – весело отозвался Андрей Прокофьич, – сом пошел. Сазана много...

Еремеич посмотрел на небо: ни звездочки. Серая, мутная мгла придвинулась совсем близко над головой...

«Не стихнет, пропала рыба, – тоскливо думал он, – ветер теплый, сгноишь всю... Линь жирный...»

– На базар думал везти? – спросил Андрей Прокофьич. – Мы тоже думали, да нет, не придется, верно.

– Поеду, – упрямо сказал Еремеич.

Гришка засмеялся:

– Лучше кидай рыбу назад.

– Да, кидай... Сам кидай...

И снова тревожно смотрел на небо и прислушивался, как свистел ветер и весенние размашистые волны глухо ударяли в песок.

«Пропадет рыба, сгноишь всю... – теперь для него это стало вдруг ясно до очевидности. – Весь улов погибнет. И лини, и сазаны, и шуки. Ни тридцати рублей не будет, ни двадцати, ни копейки...»

– Ехать надо, – решительно сказал он.

Гришка засмеялся:

– На дно. К щукам в гости.

– Одному не доехать, – серьезно проговорил Андрей Прокофьич, – лучше пережди.

– Не переждешь. Ехать надо, лодка тяжелая, не перевернется.

Еремеич встал и пошел на берег. Гришка и Андрей Прокофьич молча пошли за ним.

Помогли отвязать веревку.

– Не езд, – сказал Андрей Прокофьич.

Еремеич ничего не ответил, прыгнул в лодку и оттолкнулся веслом.

Волны подхватили его и быстро понесли от берега. Еремеич встал, распустил парус. Залив кончился, началась коренная Волга.

Вода, волны, ветер – все сразу стало другое.

Берега отодвинулись далеко, точно вовсе растаяли в ночной мгле. Одинок и беспомощно бился пригнувшийся к воде парус. И Еремеич почувствовал, что он в этой страшной пустыне один. Совершенно один.

Вернуться нельзя. Крикнуть нельзя. А впереди ничего, кроме бесконечного ряда волн, которые чем дальше, тем выше подымали свои белые зубчатые гребни. Лодка то стремительно опускалась вниз, и тогда казалось, что вода расступилась до самого дна, то медленно вползала на гору, вся содрогаясь и почти опрокидываясь назад.

Еремеич не двигался. Согнувшись, сидел он на корме, не спуская глаз с паруса и грудью прижавшись к рулевому веслу. Рыба, встревоженная качкой, билась под сетью. Упало несколько крупных капель холодного дождя, неясною красноватой тенью мелькнула далекая зарница.

Еремеичу показалось, что ветер стихает. До середины доехал. Теперь за горой – легче будет. Он отодвинулся от рулевого весла и перевел дух.

Но ветер точно ждал этого. Разом ударил в парус, как-то сбоку и исподнизу. Лодку с силой повернуло на бок. Еремеич увидал над собой черную, холодную стену воды. Весло вырвало из рук его, и он едва успел схватиться за борт погрузившейся в воду лодки...

Еремеич не кричал. Он знал, что его никто не услышит. Он старался сбросить с себя сапоги и не выпускать лодки. Волны подхватили и понесли его по течению... Вода холодная, быстрая то закрывала его с головой, то выбрасывала по пояс вверх, лодку рвало из рук, и заочевшие пальцы едва могли ее удержать. Еремеич вспомнил, как всплывшая из лодки рыба ударяла ему в грудь. И подумал: «В воде отойдет... Только мелкота послула... А сазан и вовсе живой...»

Он не думал о том, что может потонуть. Раза три тонул, ничего, цел остался. И он думал только о том, чтобы выбиться из середины, и тогда на завороте его понемногу прибьет к берегу. Он закрывал глаза, когда вода накрывала его, и переводил дух, когда снова выбрасывало кверху.

Руки переставали чувствовать лодку. И Еремеичу казалось, что чем меньше чувствовали его пальцы, тем плотней прилипали к дереву, и потому он не старался заставить себя чувствовать борт лодки. И все тело его становилось таким же нечувствующим, крепким, точно деревянным, как будто бы и оно становилось частью лодки.

«Переждать бы надо. К утру стихло бы. Рублей двадцать, а то и все три красеньких утопишь...»

Вспомнил, что и вентера потонули. Только головой с досады махнул.

«Эх, старый дурак, забыл! Чем ловить теперь буду...»

Не успел закрыть глаза, волна с гулом и холодным вздохом накрыла его. И когда выбросила наверх, Еремеич увидал, что лодка легко и свободно выскользнула из его заочевших рук и быстро понеслась куда-то в сторону. А вместе с тем и сам он грузно, почти по шею, погрузился в воду. Он не поверил! не могло этого быть. Пальцы держали крепко, как вбитые гвозди... Не может быть... Три раза тонул... И рыбы нет, и вентера... И лодка...

Руки не двигаются. Ноги не двигаются.

– Тону!.. Тону!.. Тону!..

Вода мчитя яростно, то выбрасывает, то закрывает седую голову Еремеича. Под ним глубина не меньше десяти сажен, самая середина Волги, а там дно...

В глаза его блеснул огонь костра под песчаным буруном. Теперь он поравнялся с рыбацким станом. Его течением вернуло назад к тому месту, от которого он отъехал. И Еремеич вздохнул всей грудью, жадно глотнул воздуху сколько только мог, поднялся над водой ниже груди и странным, не своим голосом хрипло и отрывочно закричал:

– Ай... Ай... Ай!..

И снова скрылся в воде. Хотел подняться. Еще глотнуть воздуха... и не мог...

Андрей Прокофьевич слышал этот крик. Быстро пошел на берег. Прислушался. Все было тихо. Вернулся к костру и растолкал спящего Гришку.

– Гришка, а Гришка, Еремеич тонет...

– Ну!

– Правда.

Гришка быстро встал. И оба они молча пошли к лодкам. Долго слушали, как свистел ветер и бились о берег волны.

– Не слышно, – тихо сказал Гришка.

– Верно, потоп, – серьезно сказал и Андрей Прокофьевич. И оба они медленно пошли к костру.

1912

Побег

Во время работ в порту бежал арестант-горец Андрей Аркизов.

Никто не ожидал этого побега. В порту работали арестанты только краткосрочные, которым бежать не имело никакого смысла. Конвой посылался больше для вида. Солдаты часто вовсе оставляли арестантов и ходили на берег моря смотреть, как спускают с лодок водолазов.

Аркизов тоже никогда не думал о побеге: ему оставалось сидеть три месяца. Но земляные работы производились так близко от гор, поросших густым каштановым лесом, конвой отошел так далеко, для него было так ясно, что достаточно перепрыгнуть ров, перейти вброд мелкую речку, и никакой конвой уже не разыщет его, что он почти машинально – не задаваясь вопросом, стоит или не стоит, – сильным движением упругих ног перескочил широкий ров и, раньше чем успели опомниться его товарищи, скрылся в темнейшем лесу.

Началась тревога.

Арестантов сбили в кучу и оставили под конвоем двух солдат.

– Не шевелиться! – кричал старший. – Шаг в сторону – пулю в лоб... Молчать!..

Одного солдата послали в тюрьму, чтобы немедленно поставить на ноги всю конвойную команду. А трое, схвативши винтовки наперевес, чтобы легче можно бежать, бросились в погоню.

Горы спускались к реке невысоким, но крутым обрывом. Ружья мешали карабкаться по обсыпавшимся камням. Ветви шиповника, за которые приходилось хвататься, кололи до крови руки. Солдаты молча, с трудом переводя дух, лезли почти по отвесной стене. Из-за вала им кричал что-то охрипший, напряженный голос, но слов нельзя было расслышать.

Наконец добрались до лесу. Громадные каштановые деревья стояли правильными рядами, точно рассаженные. После отвесной каменной стены бежать казалось легче, и солдаты, перегоняя друг друга, бросились вперед.

– В гору не надо забирать... тяжело... не ползет... – скороговоркой бросил худой, высокий солдат из местных поселенцев Яков Валаев, – книзу... к долине... там ему подручной...

Солдаты повернули книзу.

Под гору бежать показалось еще легче. Но скоро к низине лес пошел совсем другой: вместо прямых, высоких, гладких стволов каштанов начался мелкий, корявый дубняк, орешник, перевитый колючей, вьющейся травой, и низкие кусты шиповника. Трава стала высокой, мокрой – путала ноги и мешала бежать, но они упорно продолжали продираться сквозь лесную чащу, торопясь все напряженней, оставляя на сучках клочья одежды. Плана у них не было никакого. В какую сторону повернул бежавший арестант, они не видали. И теперь летели в непроходимую чащу наобум, видя перед собой только одну цель: прорваться через зеленую колючую стену кустов. Слабый, узкогрудый хохол Креморенко задыхался, кровь и пот, смешиваясь, текли липкой струей по его лицу. Валаев все время опережал других, низко пригибаясь к земле и ловко перекидывая ружье то в одну, то в другую руку. Он до солдатчины был охотник и теперь чувствовал то же, что, бывало, на охоте, преследуя кабанов или волков. Третий солдат, Мазаев, белый, флегматичный, угрюмый, почти не отставал от Валаева, полз напролом, не нагибаясь, казалось, не замечая ни царапин, ни боли...

Лес становился все чаще, все темней. Одна стена вырастала за другой все неприступней. Кусты жались друг к другу, и живая колючая стена совершенно преграждала путь.

Валаев остановился.

– Промажнулись! – досадливо сказал он. – Тут не пробраться ему, на перевал пошел. Обогнем повыше: за перевалом низина; может, на нас выскочит.

Креморенко молча вытирал красный, липкий от крови пот. Мазаев равнодушно ждал, в какую сторону надо будет двигаться снова.

Валаев нагнулся и повернул назад в гору.

Снова шиповник, колючая изгородь, кровь, клочья одежды на сучьях. Но теперь подниматься надо было в гору, и страшная стена, казалось, сама наваливалась на грудь. Креморенко отставал все больше. Мазаев, по-прежнему не сгибаясь, подставлял свое лицо колючим лапам кустов. Валаев почти полз по земле.

Снова начали попадаться стройные стволы каштанов. Выглянул темно-синий кусок чистого неба. Кусты стали выше и реже.

Поднялись еще. Впереди виден был скалистый выступ, не покрытый лесом. Валаев повернул к нему. Теперь они снова бежали почти в ряд, хватаясь за камни, перепрыгивая расщелины.

Со скалы расстился вид на всю долину, покрытую синеватым лесом и только изредка перерезанную узкими полянами.

Валаев первый взобрался на уступ и, прищулив острые черные глаза, стал осматриваться кругом.

И вдруг внизу по ту сторону долины он увидел человека. Серая согнутая фигура быстро перебежала светлую полосу поляны.

Валаев вскинул ружье, выстрелил и нагнулся, чтобы лучше разглядеть за дымом.

– Мимо... – проворчал он, стиснув зубы.

И все, как по команде, стали спускаться с утеса вниз.

Теперь они знали, куда им бежать. Они повернули с горы наискосок, чтобы перерезать дорогу.

Арестант Аркизов после неожиданного выстрела остановился.

Бежать дальше в этом же направлении было невозможно. Он был уверен, что погоня прежде всего оцепит ближайшую гору и обыщет ее. С величайшим трудом перерезал он заросшую долину, считавшуюся непроходимой, с тем расчетом, что, покуда будут обыскивать первую гору, он успеет уйти за перевал второй горы. Теперь, когда его увидели, план этот рухнул. В гору подниматься было трудно, и его всегда могли догнать.

Аркизов обогнул поляну по опушке; как привычный лесной зверь, прячась за стволами деревьев, почти ползком стал спускаться книзу, где пролегал глубоко врезавшийся в землю пересохший ручей. С обеих его сторон нависли колючие кусты, образуя почти темный туннель сплошных зеленых ветвей, но узкая извилистая полоса оставалась свободной, и, низко согнувшись, по ней можно двигаться легко.

Аркизов побежал вдоль ручья.

Солдаты спускались по новой дороге. Они забирали наискосок, чтобы выиграть расстояние. Теперь они видели перед собой уже не стену неприступных кустов, а скрывавшегося зверя, которого надо догнать.

И все им теперь казалось легче.

Валаев отдался охоте с упоением. Он готов был лететь по воздуху. И, как всегда на охоте, охвачен был тем особенным состоянием, когда слух становится острее, глаза лучше видят и является особое чутье, точно человек входит в душу зверя и предугадывает, куда бы зверь должен был побежать, что сделать, где спрятаться.

Волк, кабан, Аркизов, олень – для Валаева было безразлично. Важна была – охота. И он бежал с ружьем в руках, бодрый, радостный, сильный. Ловил каждый шорох. Пронизывал взглядом темную заросль и видел, и чувствовал зверя уже недалеко от себя.

Креморенко тоже оживился. Не отставал. Мял в потных руках ружье. И чему-то довольно улыбался. Даже Мазаев выказывал признаки воодушевления, большое белое лицо его начало покрываться странным багровым румянцем.

Когда добежали до ручья, Мазаев и Креморенко хотели перескочить его и бежать дальше, в гору. Но Валаев вдруг остановился и замер неподвижно:

– Зверь пошел по ручью...

Мысль эта сверкнула как внезапный удар. Отчетливо, ясно, уверенно.

– По ручью пошел, – едва выговорил он.

И ни Мазаев, ни Креморенко не спросили, почему он так думает; молча повинувшись его уверенности, оба побежали за ним вдоль ручья.

Аркизов бежал без передышки. Он знал, что ручей выходит на большую ложину, за которой начинаются неприступные горы, и что, если он незамеченный перебежит это открытое место, он спасен.

Камни на дне ручья сухо стучали под его ногами, но он жадно вслушивался не в этот звук, а в другой, который старался различить далеко за собой. Ему казалось, что он уже слышит неровный топот ног. Он все ускорял и ускорял бег, и чем быстрее бежал, тем яснее чувствовал, что погоня пошла по ручью, что охотники близко, что надо налечь изо всех сил, чтобы успеть скрыться в скалистых горах раньше, чем солдаты выскочат из чащи. И он изгибался как змея между нависших ветвей и как ветер летел по извилистому ручью.

Валаев теперь знал наверное не только то, что зверь пошел по этой дороге, но и то, что расстояние между ними медленно, но сокращается, что зверь устал и что, если выдержать еще полчаса такого бега, его можно будет взять живьем. И вздрагивая от этой радостной уверенности, крепко стиснув зубы, не замечая ничего вокруг себя, он все больше и больше приближался к зверю.

Аркизов уже ясно слышал за собой топот ног. Но скрыться было некуда. Выход по-прежнему оставался один: успеть перебежать ложину.

Теперь он, напротив, старался не слушать глухих звуков погони: каждый удар точно подкашивал его, и ноги ослабевали. Все мысли его были сосредоточены на одном: скоро ли конец ручья? И он напряженно усиливался мыслью сократить это расстояние, точно помогая своему телу двигаться быстрее.

Недалеко. Кусты стали реже. Еще два изгиба, потом пересохший водопад, в котором весной так ревет вода, что слышно за горой, – и поляна, а за ней скалы, в которых его не возьмет никто. Но топот кажется уже совсем близко, и ноги от этих упорных глухих звуков подкашиваются и слабнут.

Валаев уже чувствовал, как выбивается из сил изнемогающий зверь. Он не знал местности, не знал, что сейчас все должно решиться окончательно: затравят или уйдет. Уже ясно слышны впереди короткие сухие удары. Кусты поредели. Вспрыгнули на уступы водопада. Вот среди редких деревьев мелькнула согнутая серая спина. А вот открылась и гладкая равнина.

Почти посреди нее, не разгибаясь, бежит он.

Видно узкую серую спину и тонкие, высоко вскидывающие ноги.

Валаев приложился. Целился долго. И выстрелил.

Узкая спина согнулась, ноги взметнулись в воздухе, и серый ком рухнул на землю.

Валаев, схватив ружье наперевес, а за ним Креморенко и Мазаев бросились вперед.

– Жив... Ранен в ногу... – задыхался Валаев. И добежав до серого комка, дрожавшего на земле, замахнулся и ударил прикладом. Что-то хрустнуло, охнуло. Снова поднялся приклад, и снова глухой удар. Креморенко и Мазаев навалились грудью, придавливали к земле. Мазаев почувствовал на руках теплую кровь, вскочил на ноги и стал, как и Валаев, бить прикладом ружья.

Первый пришел в себя Креморенко:

– Стойте, братцы... Не уйдет теперь...

Валаев и Мазаев остановились.

Креморенко нагнулся, заглянул в синевшее лицо Аркизова и сказал:

– Помер...

Валаев, опустив ружье и бледный как воск, смотрел на убитого.

– Не надо бы, – говорил Креморенко, – живым бы взять можно.

Валаев все молчал. Грудь его судорожно вдыхала воздух. Черные глаза с каким-то ужасом и недоумением смотрели на лежавшего под ногами мертвого человека. Как будто бы он ожидал увидеть голову затравленного волка или кабана, а вместо этого увидал человеческое лицо, испачканное кровью и землей, с полузакрытыми глазами и скривившимся ртом, из которого выступила красная пена.

Только теперь Валаев понял, что пред ним несколько минут назад бежал человек. И не мог сдвинуться с места, и все смотрел с ужасом и недоумением на убитого.

– Надо сигнал подать, – равнодушно сказал Мазаев. И, подняв ружье, выстрелил в воздух...

1912

Назначение

Николай Николаевич служил в полицейском управлении второго участка города N.

Поступил он на службу, когда ему было с небольшим двадцать лет, и с тех пор сидел все за тем же столом, против того же окна, до сорокалетнего возраста.

За это время сам Николай Николаевич, разумеется, изменился: полысел, покрылся морщинами, отпустил себе окладистую бороду, на которой с одного боку стала уже выбиваться седина, но жизнь его изо дня в день текла своим обычным порядком, не позволяя замечать даже тех внешних перемен, которые происходили в ней.

Николай Николаевич как-то не замечал движения своей жизни.

Все, что окружало его, изменялось постепенно, точно так же, как постепенно изменялась его внешность; и точно так же, как он не замечал, что его розовые, полные щеки малопомалу стали желтыми и покрылись морщинами, не замечал он и перемены начальников, смерти сослуживцев и других событий, так или иначе изменявших его жизнь.

И не то чтобы он не замечал их, но они казались ему чем-то таким логичным, неизбежным; он как бы предчувствовал их и, когда они наступали, уж не чувствовал их новизны.

Николай Николаевич почти никогда сам не вспоминал прошедшего, хотя любил послушать, как его сослуживец, пьяный и неряшливый Кривцов, рассказывал что-нибудь смешное из прошлого, которое уже давно и забылось Николаем Николаевичем.

Николай Николаевич не вспоминал о прошлом потому, что не жалел о нем: оно ничем не было лучше настоящего и ожидаемого будущего.

Стол, за которым столько лет просидел Николай Николаевич, стоял против широкого, светлого окна. Под окном была посажена молоденькая липка, успевшая вырасти в большое дерево с толстым, черным стволом и пахучими листьями. Николай Николаевич любил или, лучше, привык к этому дереву и к этому окну. Весной окно растворялось, молодые листья заглядывали в комнату, и Николай Николаевич, когда уставал писать, облокачивался на спинку стула и смотрел, как медленно покачивались они. Он в это время ни о чем не думал, но ему было приятно смотреть на светло-зеленые листья, которые шевелились как живые.

Липу эту посадил давно уже умерший пристав, при котором Николай Николаевич поступил на службу. Единственный, кажется, пристав, которого он помнил, – потому, может быть, что это был его первый начальник, а может быть, потому что его особенно часто изображал Кривцов.

Пристав этот очень любил Николая Николаевича и был большой весельчак, шутник.

Николай Николаевич часто вспоминал, как, бывало, его первый начальник подойдет в упор и огорошит вопросом:

– Почему попы покупают шляпы с широкими полями?

И не дожидаясь ответа, сквозь громкий, оглушительный хохот, наклоняясь к самому уху Николая Николаевича, добавляет:

– Потому, что даром им шляп не дают.

Хохочет пристав, хохочут и все подчиненные.

– А что будет с голубой лентой, – спрашивает он далее, – если ее бросить в Ледовитый океан?

Оказывалось, что лента потонет.

В саду кроме липы росло много других деревьев, разведенных тем же приставом. Сад был темный, тенистый, в нем пели соловьи. И Николай Николаевич любил слушать их, но никогда это пение не мешало ему переписывать бумаги. Он начинал слушать только тогда, когда уставала рука. А уставала у него только рука да иногда еще спина. Писал он механи-

чески, по навыку, образовавшемуся за долгую службу, внося разнообразие в свое писание только по требованию начальства.

– Пишите помельче, на вас бумаги не напасешься, – говорил один пристав.

И Николай Николаевич выводил мелкие, четкие буквы.

– Что вы бисер нижете, у вас ничего не разберешь, пишите покрупнее, – говорил другой.

И он начинал ставить круглые, разгонистые буквы.

Через два-три дня ему всякий раз начинало казаться, что это именно его собственный почерк, и что он пишет им с самого своего поступления на службу, которое терялось в туманном прошлом, и что будет он так писать до конца своей службы.

Изредка, летом, происходил ремонт. Войдет Николай Николаевич в заново оклеенную комнату с чистым потолком и покрашенным полом. Комната совсем чужая; ему как-то неловко, и чувство это забавляет его. Николай Николаевич усаживался за свой обычный стол, смотрел на липу, слушал, как поет соловей, и через три дня уже не мог вспомнить, какие были в комнате прежние обои.

Он нигде не бывал, ему незачем было ходить в гости: со всеми сослуживцами он утром и вечером виделся на службе. Сходились обыкновенно за полчаса до присутствия и тут успевали переговорить обо всем, что интересовало их.

Кривцов обыкновенно изображал какое-нибудь начальство, умершее или существующее.

Петров донимал французским диалектом мрачного, сосредоточенного сторожа-раскольника, который обыкновенно отмалчивался и на все назойливые пристаивания угрюмо ворчал:

– Этого ничего я не знаю, а с истинной веры ты меня не сковырнешь.

– Коман сова?³ – в упор спрашивал его Петров.

– Не сковырнешь, говорю.

– Коман сова? – еще настойчивее спрашивал Петров.

– Не сковырнешь, и баста!

– Коман сова? – наступал Петров.

– Тьфу! Нехристи... – отплевывался сторож, выходя из терпения.

После этого начинали говорить о вопросах серьезных. О том, что Фирсов награды к Рождеству не получил; Семёнов жениться хочет на племяннице Дементьева и уже переехал на новую квартиру; у Трифонова убежала кухарка и утащила новый самовар.

А через полчаса в полиции начиналась толкотня, приходили дворники, кухарки, ночные сторожа.

За длинными столами скрипели перья, и Николай Николаевич, наклонив набок свою бородатую голову, выводил мелкие или крупные буквы, сообразно с тем, кто был в данный момент начальником.

Почти вся жизнь Николая Николаевича проходила на службе. Дома он ночевал, пил утренний чай, обедал и спал после обеда.

Больше десяти лет жил он на одной и той же квартире у Аграфены Ивановны, которая при нем овдовела, оставшись с двумя маленькими детьми, Машей и Колей; при нем же дети подросли и стали ходить в школу; при нем же и Аграфена Ивановна из цветущей проворной женщины превратилась в усталую осунувшуюся старуху.

Кроме Николая Николаевича у нее было еще несколько жильцов-приказчиков, но те часто менялись, и один только Николай Николаевич был как свой человек.

³ Comment ça va? – «Как дела?» *франц.*).

Он сжился со стенами низенького домика, где жила Аграфена Ивановна, со своей комнатой, с палисадником, в котором росли тонкие вишни, с болезненными и молчаливыми ребятами Аграфены Ивановны, и точно так же не мог себе представить другой квартиры и обстановки, в которой ему пришлось бы жить, как у самого себя – другой физиономии.

Все, что окружало его, органически срослось с ним и изменялось лишь вместе с ним.

Выходя утром пить чай, Николай Николаевич уже знал, что он увидит на столе налитой стакан чаю и обычную «подковку», обсыпанную маком.

За обедом Аграфена Ивановна расскажет ему что-нибудь о своем хозяйстве, а за вечерним чаем Николай Николаевич расскажет ей какой-нибудь случай из своей полицейской жизни.

– Старуха у нас живет, – рассказывает он, – на улице подняли, думали, пьяная, а она немая ли, сумасшедшая ли, Бог ее знает... Выпустят ее из полиции, выйдет и ляжет... что ты будешь делать? Так три месяца и живет.

– Три месяца! – удивляется Аграфена Ивановна.

– Три месяца. Так и живет...

По праздникам Николай Николаевич ходил гулять, один или с Аграфеной Ивановной; и редко-редко когда заходил к кому-нибудь в гости.

В гостях он чувствовал себя неловко. Чужая жизнь, чужая обстановка, чужие интересы неприятно действовали на него. Он приходил в какое-то беспокойство, был молчалив, неловок и старался поскорее выбраться домой.

В этот день он испытывал особенное удовольствие при виде знакомых стен, знакомого самовара, у которого одна сторона была немного вдавлена, и засиживался с Аграфеной Ивановной дольше обыкновенного.

Так однообразно, изо дня в день текла маленькая, серенькая жизнь Николая Николаевича.

Он не был доволен ею, но не чувствовал и неудовольствия. В нем никогда не возникала мысль о том, что он, большая ли, маленькая, но самостоятельная единица. Он чувствовал себя всегда плюс полиция, плюс стол, за которым он работает, плюс начальник, который ему приказывает, и всякий раз, когда ему приходилось отрываться от этих плюсов, он испытывал болезненное ощущение беспомощности.

Однообразные серенькие дни слились у него в какую-то сплошную прямую линию, один конец которой терялся в прошлом, а другой убегал в будущее.

Когда-то в молодости у Николая Николаевича было нечто вроде романа, именно вроде, потому что героиня его была очень пожилая женщина, которая покорила Николая Николаевича своей скромностью и умением вести хозяйство. Но выйти замуж за него она не пожелала; Николай Николаевич съехал с квартиры и забыл о ней.

Будничные, серенькие дни Николая Николаевича, наполненные тысячью повторяющихся мелочей, равномерно зачем-то шли вперед, никогда не возбуждая в нем протеста против своего однообразия, против своей жестокой закономерности, никогда не возбуждая вопроса, зачем идут они и почему идут так, а не иначе.

Он жил, лысел, старился и зачем-то все жил и жил – где-то в сторонке, где-то в полутемном переулке, далеко от жизни большого города.

Та, другая, жизнь и не манила его, и не отталкивала – он просто не знал ее или не хотел знать. И каждый раз, гуляя по шумным улицам, он чувствовал себя чужим, но не одиноким, как будто вместе с ним двигалось все то, что окружало его и составляло его жизнь.

Кто знает, может быть, Николай Николаевич так и умер бы, ни разу не выбившись из своей узкой колеи, с гордым сознанием, что он хорошо и спокойно прожил свой век, – но случилось одно очень незначительное обстоятельство...

Была весна.

После целой недели проливных дождей погода сразу переменялась, небо стало синим, как будто нарисованным, деревья зазеленели нежной, почти желтой листвой; мостовые обсохли, на улицах закипела жизнь; все стало ярче, моложе, нарядней...

Пришлось это как раз в праздник.

Николаю Николаевичу тоже надоели дожди, и он с особенным удовольствием отправился гулять.

Шел он медленно, не торопясь, останавливаясь у витрин магазинов, особенно у фотографических, хотя карточки были выставлены давно и он помнил все лица.

Доходя до первого переулка, он обыкновенно сворачивал, так как не любил толкотни, но на этот раз прошел несколько дальше и свернул не направо, а налево. Там было больше зелени, по немощеной улице идти было мягче. С шумной «главной» улицы доносился веселый гул, но он становился все тише и тише... Народу никого не было. Безжизненно и пусто было кругом. Непосредственно после шума и жизни эта тишина неприятно подействовала даже на Николая Николаевича. Он постоял, послушал и повернул назад. Вдали опять зашумел город. Все сильнее и сильнее. Николай Николаевич почувствовал что-то неприятное от этого растущего шума и хотел опять идти переулком, но в это время мимо него по направлению к главной улице прошла парочка.

Это были гимназист и гимназистка.

Гимназистка несла в руке какую-то папку, которой она размахивала и слегка даже задела Николая Николаевича.

Они громко говорили о чем-то, хохотали. Гимназистка от хохота даже останавливалась и вся подавалась вперед. Было слышно одно только слово: «привидение!».

Николаю Николаевичу вдруг почему-то стало любопытно знать, о чем они разговаривают. И он, не давая себе отчета, быстро пошел вслед за ними.

Он так привык, что все совершалось «как нужно», что сначала и в этом любопытстве не заметил ничего особенного. Раньше никогда не казалось любопытным, что говорят прохожие, а теперь стало – вот и все.

Гимназист и гимназистка вышли на главную улицу и повернули влево. Николай Николаевич пошел за ними.

Они по-прежнему весело болтали, не обращая на него никакого внимания.

Не совсем еще длинное форменное платье гимназистки ловко обхватывало ее тоненькую полудетскую фигурку. Темные волосы выбились из-под соломенной шляпы и закрывали уши. Она почти не поворачивала головы, и Николаю Николаевичу был виден только край розовой щеки, на которой от солнца золотился пушок.

Гимназист повернулся почти в профиль: лицо у него было молодое, улыбающееся, худощавое, но энергичное и смелое.

Николай Николаевич совершенно не мог разобрать, о чем они говорили, но, когда гимназистка смеялась и отворачивалась от своего собеседника, – а Николай Николаевич видел, как вздрагивала от смеха ее щека, – он тоже улыбался и бессознательно вытягивал шею, как будто желая заглянуть им обоим в лицо.

Они перешли на другую сторону. Гимназистка почти перебежала, чтобы не попасть под лошадь, и, стоя на другой стороне, улыбалась и ждала своего кавалера.

Николай Николаевич так обрадовался, увидав ее лицо, точно оно заключало в себе что-то очень нужное и важное для него; даже сердце забилося как-то непривычно, быстро, но приятно, так что он остановился, а потом тоже почти бегом перебежал улицу.

На этой стороне народу было меньше, и Николай Николаевич мог ближе идти за ними и слушать.

– Вы с нами поедете? – спросила гимназистка, повернувшись лицом к своему кавалеру. Она улыбалась и готова была смеяться.

– Нет, не поеду, – отвечал он. Но лицо его так и сияло, так и улыбалось навстречу ей. Она удерживалась, чтобы не смеяться, и шурилась от солнца:

– Ну, хорошо, я Лукашевича приглашу.

– А я – Нину Ивановну.

Это, очевидно, было страшно смешно, потому что оба они так и прыснули.

– Мы до завода поедem.

– Кто «мы»?

– Я и Лукашевич.

И оба они опять смеялись, глядя в сияющие глаза друг другу.

– А мы до мельницы, – сказал гимназист.

– Кто «мы?» – со смехом передразнила она, махая папкой и задевая его.

– Я и Нина Ивановна.

И снова хохотали они звонко и радостно.

Николай Николаевич, осторожно ступая, шел сзади них.

Когда улыбались они – улыбался и он, когда они смеялись – он тоже смеялся, тихо, неслышно, закрываясь рукой.

Ему было тоже очень смешно, что вдруг гимназист поедет с Ниной Ивановной, а она с Лукашевичем; и ему было так хорошо на душе, потому что он тоже отлично знал, что этого никогда не будет и что они поедут вместе, будут переглядываться и смеяться до упаду, вспоминая свой теперешний разговор, возбуждая общее недоумение.

Вдруг гимназистка остановилась около подъезда.

– Спасибо. Прощайте, – сказала она.

Николай Николаевич сразу не понял, в чем дело, и так растерялся, что тоже остановился.

Он как-то не думал, что они могут уйти от него, и так скоро. Ему жалко и тяжело стало расставаться с ними.

Он прошел немного, но вернулся назад, чтобы еще хоть раз пройти мимо них.

А они все еще стояли, держа друг друга за руку.

– Я теперь догадался, кто вам сказал, – говорил он.

– Честное слово, нет... я сама узнала. На кого вы думаете?

– Я не скажу.

– Вы не знаете, – смеясь, говорила она, не отнимая своей руки.

– Нет, знаю. Хотите, скажу?

– Ну, скажите.

– А если верно, вы скажете, что «да»?

– Скажу.

– Честное слово?

Дальше Николай Николаевич не слышал. Когда он оглянулся, гимназистка уже вбежала по каменной лесенке и захлопывала за собой дверь.

Гимназист пошел обратно. Проходя мимо Николая Николаевича, он мельком взглянул на него. Лицо гимназиста уже не улыбалось, но было радостное и возбужденное.

А Николай Николаевич еще несколько раз прошел мимо этого подъезда, посмотрел на коричневую дверь и, быть может, в первый раз за всю свою жизнь почувствовал себя среди идущей и едущей толпы не только чужим, но и одиноким.

Ему было как-то и странно, и обидно, что жили эти гимназист и гимназистка до сих пор, и он ничего не знал о них. Где-нибудь они познакомились, каждый день виделись, разговаривали, смеялись, и теперь будут видеться, пойдут на лодки, и все это без Николая Николаевича, и нет им до Николая Николаевича никакого дела. Они даже не заметили его.

Глядя на дом, в который ушла гимназистка, он необыкновенно ясно представлял себе, как она пришла, бросила папку, как она теперь сидит, разговаривает. Это ощущение чужой жизни и как бы участие в ней было до такой степени ново и непривычно для Николая Николаевича, что он как-то преобразился весь.

Сосредоточенный, низко наклонив голову, ходил он около крыльца, точно дожидаясь чего-то.

Как будто здесь именно он мог получить разрешение своих недоумений и покой от тех чувств, которые всколыхнулись в нем, когда он не только узнал, но и сердцем почувствовал, что есть другая, совсем особенная жизнь, к которой он, Николай Николаевич, не имеет никакого отношения.

Он был не только поражен, но и подавлен мыслью, что до сих пор никогда ему не приходило в голову, как живут все те тысячи людей, которых он встречал на своих прогулках; и что такое его жизнь у Аграфены Ивановны в сравнении с их жизнью? Так ли они живут? И зачем, наконец, нужна его маленькая жизнь, когда кругом никто не знает о ней и все живут по-своему, не обращая на него никакого внимания?

Последний вопрос совершенно ошеломил Николая Николаевича.

Быстро, но с непривычки неуклюже неслись в голове его мысли. Это были даже не мысли, а ряд тяжелых, странных и мучительных вопросов, которые еще больше заставляли Николая Николаевича чувствовать, что он остался на улице совершенно один, что его никто не знает, что нет до него никому никакого дела, что гимназистка совсем чужая ему, и что жизнь его там, у Аграфены Ивановны и в канцелярии, вместе со всей полицией, совершается где-то не здесь, в этом шумном городе, а далеко-далеко отсюда, и что Николай Николаевич никогда не знал этого.

Медленно, весь отдавшись своим новым открытиям, шел он, но не домой, а дальше, вдоль главной улицы. Ему хотелось уйти куда-нибудь, но не как раньше, чтобы его не задевала окружающая жизнь, а так, чтобы где-нибудь, в стороне и от своей, и от чужой жизни, решить наконец, что же с ним случилось и что он узнал.

Он свернул с главной улицы и пошел в городской сад.

В городском саду все зеленело и было полно пробуждающейся жизни.

Мягкая, густая трава, яркие желтые цветы, молоденькие кустики с такими же молоденькими, остренькими листиками, тоненькие березки, ослепительно-белые, точно вымытые дождем, коренастые дубы, едва распутившие красноватые почки, нарядные и благоухающие тополя, желтые, залитые солнцем дорожки – все это слилось во что-то одно целое, свежее, яркое и молодое.

Птицы щебетали наперебой друг перед дружкой; слышались и трели, и свист, и щелканье – все пели по-разному; но и в пении их слышалось что-то одно, общее, до того радостное, даже ликующее, что казалось, и солнце потому светило так радостно и тепло.

И солнце, и сад, и тысячи поющих на разные лады птиц – все жило одной радостной жизнью, всюду была весна!

Только что вошел Николай Николаевич в сад, как его окрикнул Кривцов:

– Эй, Николай-чудотворец, гуляешь, а? Весна-то, брат!.. Пойдем, выпьем.

В первый момент при звуке знакомого голоса Николай Николаевич почувствовал совершенно такое же чувство досады, какое он испытывал раньше в гостях, когда чужая жизнь пыталась ворваться в его жизнь, но потом ему стало приятно. Знакомая, смешная фигура Кривцова и все, что с ней было связано, быстро охватило его своей привычной атмосферой.

– Ты куда же? – спросил он Кривцова.

– В кабак... Весну встречаю. Ну, день! Сверхъестественный день! Пойдем, право, выпьем? Был уже один Николай святой – будет, – смеясь, сказал он, скаля зубы и передразнивая околоточного Буракова.

Николай Николаевич почувствовал такую близость к Кривцову, и так ему хорошо было с ним, что он хотел уже согласиться с ним пройти, как вдруг Кривцов сказал:

– Знаешь новость?

– Какую новость? – встревожился Николай Николаевич.

– Фирсова переводят в Т.

– Как переводят? Зачем?

– Повышение, брат, – станovým назначили... Пойдем, выпьем. Весна, птицы поют, Фирсова переводят, право!.. А почему, когда идет дождь, все распускают зонты?

Кривцов быстро надулся, вытаращил глаза и растопырил руки.

Но Николай Николаевич не заметил шуток.

С ним произошло что-то странное. Когда Кривцов сказал о назначении Фирсова, он быстро вспомнил сегодняшнюю молодую парочку, и ему показалось, что между тем и другим есть какая-то связь... Он не думал этого, а, скорее, почувствовал, и ему стало страшно-страшно, как будто вот-вот должно что-то случиться невероятное, нелепое, против чего он, Николай Николаевич, ничего не может сделать.

– Так его переводят? – сказал он, чтобы сказать что-нибудь.

– Да, брат, переводят. Десять лет служил, все время на одной и той же квартире жил, и вдруг тащись Бог знает зачем! А он, чудак, прыгает от радости, как заяц. С радости запил, говорят. Так пойдем, что ли, а?

– Нет, я погуляю, – задумчиво сказал Николай Николаевич. – Погуляю, – повторил он.

– Ты сегодня чудной какой-то, точно подстреленный тетерев. Ну, прощай, а я, брат, сегодня лихо... Завтра службу к чорту! – и он, поправляя накинутое пальто, которое съехало с одного плеча, посвистывая, пошел к выходу.

Так называемый «городской сад» больше был похож на парк или даже на лес. В самом начале его были еще понаделаны дорожки, скамейки, кое-где посажены цветы, но дальше, за оврагом, начинался уже настоящий лес, который безо всякого забора крутым обрывом спускался к реке. Около этого обрыва тоже была сделана скамейка, потому что сюда часто ходили смотреть на открывавшийся вид.

На первом плане была река, не широкая, но глубокая и быстрая.

Резкими зигзагами обвивала она город, то глубоко врезываясь в него, то, словно испугавшись, убегая и прижимаясь к обрыву сада. Дальше начинался город. Он возвышался полукруглым амфитеатром и был похож на крепость, каменную и немую, которая вся, без стеснения, сознавая свою силу, открывалась перед взором.

Мелкие, по преимуществу белые дома плотно-плотно жались один к другому, издали сливаясь в сплошные, полукругом идущие линии. Садов почти не было видно, они были на другой стороне.

Много народу смотрело отсюда на город, и обыкновенно все задумывались. Город производил впечатление чего-то сурового, враждебного и чужого. Не верилось, что именно здесь живут так хорошо знакомые Иван Иванович и Анна Ивановна, что в этом большом целом происходят все так хорошо знакомые мелочи. Город казался торжественным и важным.

А вечером, когда зажигались огни, он был страшен своей темнотой, едва белеющей громадой, тысячью огней, угрюмо и пристально смотрящих из темноты, и каким-то бледным, мерцающим светом, который разливался под ним.

Река была видна только около самого сада, и казалось тогда, будто она, испуганная и слабая, близко-близко прижимается к обрыву, испугавшись темного города...

Николай Николаевич не любил этого обрыва, но теперь его тянуло к нему. Он дошел до скамейки, сел и даже с любопытством стал всматриваться вдаль.

Новым, как и все сегодня, казалось ему то, что он видел.

Он ни о чем определенном не думал, но в нем, в глубине души, что-то происходило, сложное, большое... Оно все сильнее и сильнее наполняло его, и он уже не противился, а отдавался весь этому растущему чувству – слабый, сгорбленный, не привыкший ни о чем рассуждать или думать...

Он посмотрел на реку и вдруг вспомнил гимназистку. И не только вспомнил, а увидел ее всю, какая она есть: в коричневом полудетском платье, в соломенной шляпе, с выбившимися волосами, с папкой в руках, которой она задевала гимназиста, и с розовой, дрожащей от смеха щекой.

Николай Николаевич стал мечтать – мечтать или даже фантазировать, как мечтают и фантазируют только очень молодые люди и как он не фантазировал никогда во всю свою жизнь. Этот новый, неожиданный процесс, возможность которого он не подозревал не только у себя, но и вообще у кого бы то ни было из людей, так захватил его, что уж ничего не видал он перед собой: и речка, и город слились в какое-то сплошное расплывшееся пятно. Сердце резко, до боли сильно колотилось в груди, а он напряженно, задыхаясь, следил, как странные, невероятные вещи представляются ему. Он следил за ними, как будто не он сам представлял себе все это, а кто-то другой показывал ему.

Ему представлялось, что гимназистка не чужая ему, а что это его родная, собственная дочь, но что она гораздо моложе, носит совсем коротенькое платье, не учится в гимназии, что шляпа у ней с длинными лентами и что она, такая же веселая, улыбающаяся, с темными, пышными волосами, бегает по берегу реки и рвет цветы. А он, Николай Николаевич, идет сзади под руку со своей женой. Он боится, чтобы дочка не замочила ног, а та нарочно близко-близко подбегает к воде, которая почти касается ее.

Река эта не здесь, и город не такой большой и страшный, где столько чужих, где каждый живет своей особенной жизнью.

Эта река и город где-то очень далеко. Николай Николаевич никогда и не видал таких рек. Она – широкая, тихая. А город – маленький, с тремя церквями, и весь расположен по ее берегам.

Николай Николаевич пришел в себя и тяжело вздохнул.

«Господи, что это со мной?» – подумал он.

Нервная дрожь пробежала по его телу. Ему было холодно. Кружилась голова.

И ему уже хотелось вернуться назад, ни о чем подобном не думать, как раньше, успокоиться и жить изо дня в день по привычке... Он делал страшные усилия вспомнить своих товарищей, свою низенькую комнату. Но деревья, на которые он смотрел, расплывались, уходили куда-то в сторону, и перед ним прыгала маленькая, совсем маленькая девочка, очень похожая на гимназистку. Она лепетала что-то непонятное слабым детским голоском, шлепала пухленькими, кругленькими ручками и тянулась к нему.

У Николая Николаевича сердце замирало в груди; ему чудилось, что все это наяву. И нежное непривычное чувство охватывало его к этой слабенькой начинающейся жизни. Хотелось ему качать ее; высоко-высоко поднять ее на своих руках, прижаться к ней, к тепленькой, маленькой, всей своей грудью и лицом...

И казалось ему, что она на его руках, что она гладит ему бороду и лицо и залиვა-ется-смеется беззубым ротиком.

Николай Николаевич опять спохватился.

«Да что же это такое, наконец? Откуда это?... А все это могло быть», – весь проникнутый новой жизнью, подумал он. «Может быть, и будет?» – неожиданно промелькнуло у него в голове.

Раньше он мечтал, переживая мучительное болезненное чувство, которое терзало его. Он видел свою дочку, как видел бы ее, если б она умерла и он стал вспоминать о ней. Теперь он стал фантазировать радостно, охотно отдаваясь своим мечтам.

«Вдруг меня назначат в какой-нибудь уездный город, – мечтал он, – встречу я с какой-нибудь девушкой. Она меня полюбит. Любят же других. Начнется у меня новая, совсем новая жизнь...»

Николай Николаевич всем своим существом чувствовал эту новую жизнь.

Уставшему от серого однообразия жизни почти старому человеку так хотелось этого нового, молодого счастья, о котором еще никогда не мечтал он. Рисовался ему и удобный домик с садом, и все хозяйство, и дочка, и хорошие знакомые люди. Хотелось ему увидеть около себя не женщину, а любящую и жалеющую его жену, чтобы знал он хоть раз в жизни, что кому-то не безразлично – ушел он или нет, болен он или здоров, что есть человек, который живет с ним одной жизнью, радуется и страдает вместе с ним, что он не одинок.

«Разве это так невозможно? – снова думал Николай Николаевич. – Только бы назначили куда-нибудь в другой город. Назначили же Фирсова...»

И ему все возможней и возможней казалось такое назначение.

Тогда он начал с особенным удовольствием представлять себе каждую мелочь своей новой жизни. Все эти мелочи были так очевидны, так близки и так возможны, что назначение, от которого все это зависело, начинало казаться ему не только возможным, но неизбежным.

Весь взволнованный, с трясущимися руками, встал Николай Николаевич и пошел в глубь сада.

«После обеда я буду ходить гулять, – думал он, – а не спать, как теперь. Заведу собаку, буду охотиться: стрелять очень легко можно выучиться. Летом буду приглашать к себе Кривцова».

Внимание его чем-нибудь отвлекалось; он видел тогда, что идет по городскому саду, в котором бывал почти каждое воскресенье в течение семнадцати лет, и скорее снова спешил отдаться мечтам.

– Ведь назначение обязательно будет, – почти вслух говорил он, быстро идя по дорожке. – Не может быть, чтобы все это не сделалось.

И назначение придвигалось все больше. Николаю Николаевичу казалось, что вот он придет домой и найдет бумагу. Насчет Фирсова вышла ошибка, это Николай Николаевич назначен становым приставом, так как он дольше его служит и числится самым исправным чиновником.

– За семнадцать лет я месяца не пропустил и никогда не брал отпуска.

И тут же подумал: «А вдруг назначения не будет?»

– Да будет же, будет! – с отчаянием, трясаясь как в лихорадке, твердил он.

И ему хотелось сделать что-нибудь такое, что бы окончательно прогнало сомнение и заставило поверить, что назначение будет.

– Ведь оно будет, нужно только не мучиться, покуда оно не пришло.

Это «покуда» страшно обрадовало Николая Николаевича.

– Покудова, именно покудова! Но потом оно придет, непременно придет.

Навстречу Николаю Николаевичу опять показался Кривцов. Пальто его совсем сползло. Он был пьян и сильно пошатывался.

Николай Николаевич почти побежал ему навстречу. Ему хотелось сейчас же рассказать все, что он пережил и передумал.

– А, Николай-угодник! – улыбался ему навстречу Кривцов. – Выпьем, брат... Право...

– Выпьем, – согласился Николай Николаевич, тряся его руку.

– Правда?... – уставился на него Кривцов, удивленный необычным ответом.

– Разумеется... Я, брат, назначение получаю... я, понимаешь... приставом...
Николай Николаевич задыхался. Кривцов вытаращил глаза:
– Ты?... Врешь!..
– Верно... Честное слово... Выпьем? Напьемся с радости...
– Что ж это ты давеча не того, брат?...
– Нарочно я, понимаешь... Честное слово... Ну, выпьем!..
– Выпьем... Конечно... Уррра!.. – заорал Кривцов: – Николка, брат... Семнадцать лет вместе были... расстанемся, значит... Ну, чорт с тобой... Семнадцать лет... А я опять останусь... Пить буду... Весна... Жизнь, брат... Эх, брат, Николка!..

– Идем, идем, – торопил Николай Николаевич и тянул его за рукав.

– Идем, верно... Семнадцать лет, брат... это... это целая жизнь!..

Николай Николаевич два дня не ночевал дома.

Аграфена Ивановна сначала перепугалась, не случилось ли с ним какое-нибудь несчастье, но потом пошла в полицию и узнала, что он запил.

В первый момент это ее поразило как совершенная неожиданность, но потом, не вдаваясь в исследование, почему произошло такое необыкновенное явление, она, тоже привыкшая, что если что-нибудь случается, то, значит, так и нужно, покорно помирилась с фактом.

Каждый день накрывала она прибор и ждала своего жильца к чаю, к обеду и к ужину.

На третий день, только что все поужинали и Аграфена Ивановна убрала со стола, оставив один накрытый прибор, в стеклянную входную дверь с улицы постучались.

Аграфена Ивановна с лампой в руках пошла отворять.

Это был Николай Николаевич.

Когда дверь распахнулась, Аграфена Ивановна при свете лампы увидела около крыльца телегу, возле которой возилась чья-то темная фигура.

– Чья это лошадь-то? – спросила она, запирая дверь.

Николай Николаевич молчал и тяжело отдувался, снимая пальто.

Он разделся и пошел в столовую. При входе в нее он сильно покачнулся, но удержался за край стола и грузно сел на стул.

Аграфена Ивановна молча поставила на стол лампу и села против него.

Николая Николаевича трудно было узнать. Он был грязный, растрепанный. Галстук развязался, и измятая манишка наполовину расстегнулась. На одной щеке было круглое синее пятно, отчего глаз стал больше и смотрел как-то необычно серьезно.

– Батюшка, Николай Николаевич, что это с вами, – проговорила Аграфена Ивановна, с любопытством и внутренней тревогой осматривая его, – я уж думала, несчастье какое не случилось ли. В полицию бегала.

Он молчал и в упор смотрел на нее.

– Ужинать будете, Николай Николаевич?

– До свидания, – тихо сказал он.

– Поужинаете, выпитесь, и пройдет все.

– До свидания!.. – угрюмо повторил он.

– Что вы, Николай Николаевич, Господь с вами!

– Уезжаю я... Прощайте, Аграфена Ивановна.

– Уезжаете! Куда? Господи, помилуй...

– В Берёзово... Переводят... Спасибо вам за все, спасибо, Аграфена Ивановна, за все...

Лихом меня не помяните... Здоровы будьте.

– Повышение, значит?

– Да... Секретарем полиции... Хорошенький городок, маленький, всего десять тысяч жителей... Речка... Весело будет...

И он тихо засмеялся, а из глаз его по осунувшимся щекам побежали слезы.

Теперь Николай Николаевич уже не мог верить собственной своей лжи, как в городском саду при разговоре с Кривцовым. За эти дни непривычного пьянства он чувствовал, что эта мечта, делавшая его счастливым, бесповоротно ускользает от него. И чем яснее сознавал он это, тем дальше шел в своих желаниях поддержать иллюзии. Он сходил на постоялый двор, нанял ломовика увезти вещи от Аграфены Ивановны, чтобы все было так, как он сделал бы, если бы получил настоящее назначение. Это было последнее, самое крайнее средство еще хоть на один миг сделать мечту действительностью. Что будет дальше – он не хотел думать.

Аграфена Ивановна сидела опустив руки.

Налетало это так неожиданно. Она, как и Николай Николаевич, привыкла, чтобы жизнь шла по определенному руслу, и теперь сразу не умела сообразить, что такое происходит. Она чувствовала себя беззащитной и слабой, как не чувствовала себя давно, со времени смерти своего мужа.

– Ужинать-то будете? – сказала она, торопливо вставая.

– Спасибо... Не буду я, вещи помогите вынести... к Кривцову свезу... Сегодня уезжаю я...

Они помолчали.

За окном фыркала лошадь. Через полуотворенную дверь было слышно, как в кухне возились ребяташки.

– Нет, мне начинать, – говорил Коля.

– Ты уронил мячик, уронил, – спорила с ним сестра.

Николай Николаевич встал и пошел в свою комнату. Аграфена Ивановна тихо пошла за ним помогать уложить вещи. Оба они молчали и были сосредоточены. Аграфена Ивановна аккуратно укладывала всякую мелочь, чтобы ничего не разбилось и не испортилось. В полчаса совершенно разорили они маленькую комнатку. Станный, непривычный вид приняла она – точно состарилась.

– Выносить? – спросила Аграфена Ивановна.

Николай Николаевич молча взял подушки и понес их в прихожую. Аграфена Ивановна взяла остальное.

В прихожей Николай Николаевич надел пальто. Потом вошел в столовую и снова сел.

– Прощайте, Аграфена Ивановна, – сказал он, – теперь навсегда... может, никогда не увидимся!..

– Кто знает... – вздохнула Аграфена Ивановна, – может, и придете как-нибудь.

– Прощайте... лихом не поминайте...

Слезы уже не текли по щекам Николая Николаевича, они капали тяжелыми каплями на его руки и бороду.

– Привык я, – заговорил он, глотая слезы и трясущейся рукой утирая лицо, – привык... Десять лет жили душа в душу... родные мне все... Ну, прощайте, – решительно сказал он, вставая. – Жалко мне... всех вас, и комнатку, и «подковку», – почти шепотом добавил Николай Николаевич.

Из кухни вышли Маша с Колей.

– А! детки!.. прощайте, голубчики. Николку будете помнить? Милые... прощайте... Несчастный я! – вдруг почти крикнул он.

И подойдя к Аграфене Ивановне, взял ее за плечи, хотел нагнуться, чтобы поцеловать ее, но вместо этого прижался головой к ней и стал рыдать, трясаясь всем своим костлявым телом.

– Николай Николаевич, дорогой, полно, что это?... Вы назначение получаете, радоваться надо. Новых людей найдете... Привыкнете снова, – сквозь слезы говорила Аграфена Ивановна.

– Голубушка... несчастный я... – лепетал он, судорожно прижимаясь к ней, – голубушка, Аграфена Ивановна... жаль, родная моя... не могу я...

Дети с недоумением смотрели на Николая Николаевича; из-за двери выглянул другой жилец, молодой приказчик; с улицы к темному окну прижималось широкое лицо извозчика: ему, видно, наскучило ждать.

Николай Николаевич сразу притих. Поцеловал Аграфену Ивановну, обоих детей. Молча взял шляпу и, сильно шатаясь, отворил входную дверь. Аграфена Ивановна с лампой вышла на крыльцо провожать его.

Вещи уложили на телегу. Николай Николаевич сел на задок.

– Прощайте, Николай Николаевич, спасибо вам, – сказала Аграфена Ивановна.

Он ничего не ответил.

– А то остались бы, ужинали...

Телега, поскрипывая, медленно задребезжала по двору.

Аграфена Ивановна постояла на крыльце, покуда сторож не затворил ворота, потом заперла дверь, прошла в пустую комнату Николая Николаевича и отворила окно.

Долго сидела она там, подавленная тяжелой, темной, непонятной для нее силой.

И за окном было темно и тихо.

Через месяц Николай Николаевич снова поселился у Аграфены Ивановны.

В полиции никто, кроме Кривцова, не знал об его приключении.

Но Кривцов, любивший посмеяться и позубоскалить, ни разу не напомнил ему этого случая.

Сам Николай Николаевич, сидя за своим столом у открытого окна, часто задумывался о том, что такое произошло с ним, и никак не мог понять этого. И всякий раз, глядя на качающуюся ветку липы, он испытывал какое-то странное, тревожное чувство.

«Как-то фантастически все является», – думал он, ниже нагибаясь над бумагой и особенно старательно выводя мелкие или крупные буквы...

1903

Из дневника «странного человека»

Я не ел три дня. Я страшно голоден.

Но, милостивые государи, я горд. Да-с, горд! И никогда не пойду просить куска хлеба. Вы, может быть, думаете, что это простой самообман? Что мне все равно никто не даст хлеба? И я себя утешаю, что, мол, сам не хочу, из гордости не хочу, а если бы захотел этого, сейчас и преподнесли бы мне три блюда, а на самом деле, хоть бы и попросил, все равно никто ничего не даст.

Думайте что угодно. Простите за откровенность: мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я-то сам великолепно знаю, что я горд, – и оставим это!..

Но штука вся в том, что сегодня в двенадцать часов загудят колокола и запоют «Христос воскрес». В церквах будет много куличей и пасок и крашенных яиц. Очень красиво, когда все это уставят на деревянных подставках и зажгут свечи. В детстве я так любил смотреть на освящение пасхи! Больше всего любил... даже больше пения «Христос воскрес»... Пахнет ладаном, пихтой и свежим сдобным хлебом... Колокола поют... Весенний воздух в раскрытые двери врывается, как белая птица на призрачных крыльях...

Чушь все это, милостивые государи! и не об этом я совсем хочу сказать: люди после заутрени, то есть порядочные люди, разумеется, разговляться пойдут. А мне жрать нечего! Понимаете ли вы, что это значит?... Нечего, нечего, нечего!.. Экое проклятое слово!.. Ну пусть бы ветчины не было... Конечно, какая Пасха без окорока? Когда я был маленький, у нас всегда окорок обкладывали зеленью и цветной бумагой... Так вот-с... Я понимаю, что окорока нет... Это роскошь. Как хотите, но это роскошь... Ну, пусть и пасхи нет... Ведь это хлопотливое кушанье... И форму надо, и погреб... Хотя я страшно люблю пасху, особенно шоколадную, с цукатами... Я согласен: все это роскошь. Не всем же есть пасху с цукатами. Не всем же иметь свою семью... Теплую квартиру, любящую жену, детей... и пасхальный стол с разными вкусными вещами... И потом, я же сам виноват, что у меня ничего этого нет... Но оставим это – это вас не касается. Я и не виню никого, если вам угодно знать. Я настолько горд, что и винить никого не желаю... Без окорока и без пасхи я могу. Если таков социальный закон... Или как, чорт его там знает; я согласен, я совершенно примирился... Но как же без хлеба?... То есть, понимаете ли, совершенно без хлеба... без малейшего кусочка... «Христос воскрес» запоют – а у меня даже корочки нет... Ах, да при чем тут «Христос воскрес» – просто я есть хочу. Это прямо бессмыслица какая-то, что мне есть нечего!.. Ну, я виноват. Я преступник. Я исчадие ада... Но надо же мне есть. Неужели не ясно, как дважды два, что мне необходимо есть. Нельзя же три дня сидеть без куска хлеба? У меня даже во рту горько от голода. И голова тяжелая как свинец. Три дня назад я нашел в кармане семикопеечную марку, продал ее за пятачок и купил два фунта хлеба... Но ведь это было три дня назад. И потом, страшно стыдно продавать семикопеечные марки. Я, конечно, сделал вид, что просто забыл деньги... И все-таки чуть не бегом выбежал из лавки. Вы понимаете, что это стоило мне при моей гордости?

Но досаднее всего, что я уверен: в будущем у меня будут деньги. Наверное будут. Но когда? Может быть, через неделю, через месяц, через год?... А сейчас во рту горько и голова чужая. И ни одной близкой души. То есть меня многие знают. Очень даже многие... Но я выброшен на улицу и ни к кому не могу пойти...

Ха-ха!.. Они думают, что безнравственные люди не хотят есть!.. Ошибаетесь, милостивые государи, очень даже хотят... Между прочим, я теперь ужасно люблю это выражение – «милостивый государь»... Прямо великолепно! Одно время я получал много писем... И ни одно письмо не начиналось словом «милый» или «дорогой». А все – «милостивый госу-

дарь». И теперь мысленно я всегда обращаюсь к людям изысканно вежливо: «Милостивые государи!...»

Сейчас, должно быть, часов одиннадцать. Через час Пасха. Праздникам Праздник и Торжество из Торжеств... Так, кажется?

Я хожу по улицам как все. Не могут же мне запретить ходить по улицам, потому что я грешник? Такого закона еще нет, кажется... И дышать могу... И петь могу... Хотел бы я знать, есть ли еще хотя один такой же отверженный, как я, среди всех этих прохожих? Ведь они же принимают меня за настоящего человека – может быть, и среди них есть такие же одинокие, такие же голодные, как я, и только вид делают, что они «как все»... Что за нелепые мысли? Разве мне легче, если я не один такой?... Уж не завидую ли я, что они все сегодня обедали? Ели горячий суп с мягким черным хлебом. И, может быть, даже не по одной тарелке... Котлеты с макаронами... Тоже горячие. Прямо со сковороды. Чтобы масло кипело и брызгало...

Нисколько не завидую... уверяю вас... Два блюда – непозволительная роскошь... Безнравственная даже роскошь, если вам угодно!.. Я это знаю теперь наверное...

Но черный хлеб – это совсем другое дело... Про черный хлеб я ничего не говорю...

Я вышел за город и даже не заметил. Ведь это, значит, верст шесть отмахал!.. Вот что значит быть философом. А я, милостивые государи, настоящий философ, Божией милостью!.. Да-с! С гордостью об этом заявляю. Ибо всегда жил по-своему. В этом суть всякой философии!..

Да ну вас! Очень мне нужно перед вами расшаркиваться. Голова у меня болит. Вот что! Ноги устали. И есть хочу. Хлеба хочу. Черного хлеба хочу, милостивые государи!..

Однако нечего тут стоять. Надо подняться на гору...

А какая ночь-то, оказывается, великолепная! Настоящая пасхальная ночь... Звезды, точно вымытые драгоценные камни, так и переливаются. И когда повернешься к городу спиной, не видно фальшивого света электрических фонарей... и так хорошо!..

Луны нет. Но звезды такие яркие, что темно-голубую даль видно далеко-далеко... На самом краю неба бледно-лиловая полоса: может быть, отсвет дальнего пожара. В ложбинах снег еще не стаял и белеет нежными весенними пятнами. Воздух сырой, но теплый и весь насыщен запахом молодой растаявшей земли...

Я люблю тебя, милая! Люблю твои косы, твои глаза, твой смех, твои шалости, твои слезы, твою радость, твою грусть... Потому что землю люблю. Запах талого снега и влажных сосен... Дальние загадочные огни люблю и душистый воздух, и простор, и свободу безбрежную...

И зачем Бог дал мне такое нелепое, неутомное, ненасытное сердце? И кому какое дело до моего сердца? Кто моему сердцу поверит? Смешно, право!

Стою я за городом один-одинешенек. И нет до меня никому никакого дела. Хоть издохни, хоть сверши величайший подвиг. Никого. Ни души кругом.

Неужели я хуже разбойника? Но если и хуже. Ведь сейчас «Христос воскрес» запоют – до оценок ли тут: кто лучше да кто хуже... Радоваться, обниматься надо и быть всем вместе. Главное – всем вместе. Коли Христос воскрес – разве можно врозь быть?

Но вы от меня отвернулись, милостивые государи, и прекрасно, и я не пойду к вам. Я достаточно горд, чтобы не пойти к вам. Не нуждается? Ну, это уж ваше дело...

А я буду стоять здесь. Далеко от вас. Один-одинешенек и петь «Христос воскрес». Надеюсь, вы не можете мне запретить петь «Христос воскрес»?

Глаза мои привыкли к темноте, я различаю тонкие стволы березок и темные кусты вербы с мохнатыми, пушистыми почками... Как бы хорошо, если бы последние годы моей жизни оказались сном. И голод мой, и одиночество мое, и злобный город за спиной – все бы оказалось сном.

Я горд, конечно. Но я устал. Страшно устал. И так хотел бы в тепло, к людям, к чистым, добрым людям... Видеть их радостные лица, слышать их смех. Звонкие голоса... Мне больше ничего не надо... Вот как бывало в детстве: ждешь не дожدهшься заутрени. В церковь придешь и готов прыгать от счастья. И все радуется. И теплые восковые свечи. И нарядные платья. И звон колоколов. Вертишься в разные стороны, так бы и бросился на шею к первому попавшемуся соседу и заплакал от умиления.

А выйдешь из церкви – не надышишься вечерним весенним воздухом, не насмотришься на праздничное небо. Придешь домой: Боже мой, сколько света! И как тепло. И какой аромат от цветов, которыми уставлен стол...

Что это?

Господи! Да ведь это звонят!.. К заутрене звонят! Что же это я? Неужели час стою...

Простоял... Один... Разве можно теперь одному быть... Сейчас «Христос воскрес» запоют... Не могу я... Не хочу я один быть...

Да-с, милостивые государи, тут-то и случилось со мной одно маленькое и нелепое происшествие.

Я опрометью бросился к городу. Назад по грязным, незнакомым улицам. На улицах ни души. Сами понимаете, кто станет в такую ночь по улицам разгуливать? Сколько пробежал, я не помню. Только на углу какого-то переулочка вдруг почувствовал, что ноги у меня задрожали, в глазах черные круги пошли... Того гляди свалюсь... Остановился я. Осмотрелся... Должно быть, я, милостивые государи, в эту минуту на затравленного котенка походил со всей своей гордостью... Да-с... Кровь в висках колотится, холодный пот на лбу выступил. И по всему телу озноб пошел, точно приступ лихорадки...

И слышу: у ворот кто-то плачет. Должно быть, ребенок. А женский голос уговаривает: – Спи, баюшки-бай-бай!..

Придет же в голову такая нелепая мысль: взял да и бросился на эти голоса.

У ворот женщина сидит. Ребенка нянчит. Должно быть, жена дворника или ночного сторожа. К заутрене, видно, нельзя ей с ребенком-то.

Не помню, как дошел я до них. А как дошел, так и упал на скамейку и разрыдался, как последний дурак.

– Голоден я... пропал я... никому не нужен... – бормочу. А сам бьюсь в истерике...

– Ах ты, сердечный, – говорит баба, – ах ты, несчастный... – и повела меня к себе в сторожку...

Вот, милостивые государи, в пасхальную ночь, когда я умирал с голоду, простая деревенская баба одна меня пожалела.

Что из этого следует? Ничего, разумеется. Но только этого я никогда не забуду, милостивые государи...

Скажете: нам-то что за дело?

Ну, это мы еще посмотрим!..

1911

Второе распятие Христа Фантазия

I

Это произошло во время пасхальной заутрени. Толстый священник о. Иоанн Воздвиженский кадил на все четыре стороны. Хор под управлением всегда выпившего регента Пугвицина пел: «Христос воскрес из мертвых»⁴.

Кухарки крестились, клали низкие поклоны, искоса поглядывая, не украли ли куличи и пасхи, принесенные для освящения. Наряженные барыни и кавалеры христосовались друг с другом.

Словом, было то, что каждый год повторяется в тысячах православных храмов во время пасхальной заутрени. И никто не подозревал, что в ту ночь свершилось великое чудо.

Иоанн Воздвиженский, стоя в алтаре, думал о том, не перекисло ли тесто на куличи у жены его, так как она сегодня проспала. Пугвицин, стоя на клиросе, придумывал, как бы ему потихоньку от жены после ранней обедни пробраться к Терехову, у которого предполагалась вечеринка холостяков. Кухарка Андроновых думала о том, чтобы с заутрени успеть отнести маленький куличик пожарному. Зизи краснела при одной мысли, что ей сегодня предстоит христосоваться с Коко. Гимназист Ника блестящими глазами смотрел на кузину Зою и предвкушал, как он на улице, когда не будет видеть m-lle Куанон, поцелует ее. Маленький Ваня обкапал себе рукав воском и старался оттереть пятно, покуда не заметила тетя Вера...

В ту же самую ночь в далекой заглохшей монастырской ограде, на том самом месте, где почти две тысячи лет тому назад Мария Магдалина, найдя гроб пустым, в испуге бросилась рассказать ученикам, что тело Господа унесли, на том месте, где впервые смерть была побеждена Богочеловеком, свершилось великое чудо: Христос, после своего воскресения, по доносу Синедриона и предписанию кесаря снова положенный во гроб, опять воскрес.

Была тихая весенняя ночь. Горели яркие звезды. Душистый туман подымался от молодой зеленой травы. Не было вокруг могилы стражи, не было учеников. Светлый ангел тихо отвалил тяжелый камень, умыл ноги Иисуса, принес Ему новые одежды и улетел к далеким небесам.

Христос остался один.

Скользя как тень, блистая радостным победным светом, Он вышел со старого монастырского кладбища и пошел по дороге.

По обе стороны ровные поля. Пахнет сырой весенней землей. Невысокие озими тенями сереют в темноте. Радостно, торжественно горят звезды, словно ниже спустившиеся над землей.

Вдали показался храм. Колокольня вся была украшена цветными лампочками. Изредка сбоку взлетали ракеты. Окна горели, словно внутри храма был пожар.

А в храме о. Иоанн Воздвиженский все кадил, все кланялся; хор под управлением Пугвицина все пел: «Христос воскрес из мертвых...»

Христос подошел к храму. Две-три старушки-нищие, должно быть, узнав Его, поклонились Ему до земли. Он благословил их и вошел в церковь.

Заутреня подходила к концу. Кухарки уже начинали разбирать куличи. Гимназист Ника дергал кузину за рукав и шептал ей:

⁴ Тропарь Пасхи.

– Идем... m-lle нас догонит... мне нужно сказать вам...
В последний раз запели:

Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ,
И сущим во гробех живот даровав!

На несколько мгновений в церкви наступила какая-то странная тишина. О. Иоанн не мог сделать своего привычного возгласа; отец дьякон не мог подтолкнуть о. Иоанна; Пугвин не мог кашлянуть, чтобы дать понять батюшке его оплошность.

И вдруг раздался странный, словно откуда-то с неба идущий голос:
– Воистину воскрес!

Взоры всех устремились сначала кверху, потом стали искать по сторонам и наконец обратились к входу и с ожиданием, ужасом и недоумением уставились на странного человека в белых одеждах, стоявшего недалеко от старосты.

Несколько минут в церкви было полное замешательство. Незнакомый с радостным и в то же время скорбным лицом смотрел на народ. И каждому казалось, что глубокие, лучистые глаза неизвестного устремлены именно на него.

Быстрее всех пришел в себя староста, купец Бардыгин.

– Послушай, любезный, – сказал он негромко, но внушительно, – пойдика сюда...

Христос подошел. Плотной стеной вокруг них столпился народ.

– Что тебе нужно? Зачем нарушаешь благочиние в храме? Откуда ты взялся тут?

– Я воскрес из мертвых.

По толпе прошел сдержанный ропот.

– Уйдем, – сказала Зизи, – они его еще бить начнут.

– Ты пьян, любезный! – строго сказал староста.

Христос молчал.

– Как тебя звать?

– Иисус.

– Иисус?...

– Да.

– Ты жид?

– Да, я – иудей...

В это время подошел сторож Трофимыч, строгий коренастый старичок, не любивший никаких беспорядков. Его прислал из алтаря о. Иоанн. Ни слова не говоря, он взял незнакомца за руку и потащил к выходу.

– Убирайся-ка подобра-поздорову, пока в шею не наклали, – говорил он ему, подталкивая в спину.

– У, жидорва! – бросил вслед уходившему полицейский чин.

Две нищие старушки снова упали на колени перед Христом. Он вышел из церкви и тихо пошел к невысокому холму, откуда доносился шум березовой рощи. Молодые клейкие листочки нежно говорили друг с другом, и тихая ночь таинственно прислушивалась к ихговору.

II

Настало утро. Христос все сидел на холме под ласковой тенью молодых березок. Задумчиво смотрел он на громадный каменный город, расстилавшийся перед ним. Церковь, из которой вчера выгнали его, была на самой окраине: белая, новенькая.

Мимо Христа шли фабричные, крестьяне, железнодорожные служащие.

Его стали замечать. Необычайный лик Христа приковывал к себе внимание. Останавливались, спрашивали друг друга: «Кто это?» К полдню у подножья холма уже стояла целая толпа.

Наконец Христос, углубленный в свои думы, заметил народ.

Он поднялся и обвел всех тихим, ласкающим взглядом.

И от одного этого взгляда слезы покаяния подступили к горлу; вспоминалась вся темная, пьяная, развратная жизнь; в груди таял лед черствости, жестокости, злобы; тяжелые камни, теснившие сердце, сползали сами собой, как пыль, уносимая ветром. Радостная надежда начинала трепетать в душе. Надежда на то, что и рабы труда, нищеты, голода – все дети одного Отца, что кончится когда-нибудь эта каторжная земная жизнь с невыносимыми муками своими и Отец призовет в обитель несчастных, измученных Своих детей. Детство раннее вспоминалось, когда чистые, кроткие, радостные, как все дети, бегали по берегу речки Малеевки, собирали раковины, и так дышалось легко, такое голубое, светлое было небо, такие ласковые, родные были деревья; плакать хотелось оттого, что прошло оно, и смеяться от счастья, от радостной веры, что вернется снова; что это тело состарилось, а душа станет чистой, прекрасной, божественной, как ее Создатель.

Христос поднял прозрачную руку Свою, свет небесный озарил Его лицо, и Он, благословив народ, разверз уста Свои.

Нет, это не голос человеческий. Это хоры ангелов незримые поют. И звуки голосов их не улетают в бездушное пространство, а падают глубоко-глубоко в человеческие сердца.

«Блаженны нищие духом, – говорил Христос, – ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими»⁵.

Народ оцепенел. Новые, неслыханные слова! Из какой дивной книги взял Он их?

И снова поднял Христос руку Свою, и снова благословил народ.

Как один человек все тихо опустили на колени, и только несколько детей робко подошли к Нему.

Старушка Макаровна, торговка семянками, рыдала, прижимаясь морщинистой головой к сырой земле.

– Батюшка... родименький... – шептала она, – пришел Утешитель, Спаситель наш.

Уже больше никто не спрашивал: «Кто это?» Сердце узнало – Кто. Долгие годы оно ждало этих слов, этого голоса. Теперь оно рвалось навстречу Ему.

– Говори, говори, Учитель!..

А Он стоял, и светлый лик Его становился задумчив, тень скорби ложилась на нем.

Расталкивая народ локтями, городской кричал:

⁵ Заповеди блаженства. Евангелие от Матфея (5:3-12)

– Это что за толпа? Что тут такое?... Где? Кто тут?... – Он искал глазами. – Расходитесь, расходитесь... Вам говорят! Добром просят...

Толпа медленно стала расходиться.

А с холма снова раздался таинственный голос:

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное»⁶.

Толпа снова замерла. Городовой с удивлением посмотрел на холм:

– Ты что орешь?! По какому праву народ собрал? Проходи, а то в участок отправлю.

Ну, слышишь!.. И вы, братцы, расходитесь... а не то...

Он стал расталкивать народ в разные стороны.

– Дай послушать-то доброго человека, – сказал старичок.

– В церковь ступай, там и слушай. А не то – в участок.

– Нехристь ты...

– Ну, не разговаривать!

И снова с холма, словно радостный звон, прозвучал тот же голос:

«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня...»⁷

– Да что я, шучу, что ли! – закричал городовой. – Марш с холма! Что за беспорядок!

Толпа нерешительно потянулась к городу. Христос, опустив голову, пошел за ней.

– Обязательное постановление читал? – строго спросил его городовой.

Христос молча покачал головою.

– Не велено сборищ делать. В участок вашего брата надо. Там покажут...

– Я хотел учить народ, – сказал Христос.

Городовой поднес к его лицу громадный кулак:

– Видал?... То-то же!..

Христос вошел в город. Несколько женщин и стариков из толпы в отдалении шли за Ним.

Всюду чувствовался «праздник». Гул стоял от красного звона. Магазины были заперты. На лихачах в белых перчатках мчались визитеры.

Зизи встретила подругу и закричала через улицу:

– Машенька, Христос воскрес!

– Воистину, воистину... Я к Курочкиным!

– А вечером придешь?

– Не знаю...

Пугвицин шел, обнявшись с Тереховым, и бормотал:

– Смертию смерть поправ... Это, брат... это, брат, тебе не шутка...

Ника в новых перчатках шел под руку с Зоей.

– Я ни за что не буду с ним христосоваться.

– Это вы так говорите, а потом возьмете и похристосуетесь.

– Вот еще!

– Ну, дайте мне слово, что не будете.

– Да вам-то что?

– Вот странно.

Ника покраснел.

О. Иоанн Воздвиженский только что сел за стол и очищал красное яйцо.

– А кулич-то перекис, матушка...

⁶ Заповеди блаженства. Евангелие от Матфея (5:10)

⁷ Заповеди блаженства. Евангелие от Матфея (5:11)

- Полно тебе, ничего не перекис... Это от изюму.
- Перекис.
- Всегда ты мне назло выдумашь.
- Не назло, а только – что надо вовремя вставать. Дрыхнешь, а куличи перекисли...
- Это изюм, а не перекисли...
- Уж какой там изюм... Ну-ка, колбаски дай...
- Ваня вырвался-таки от гувернантки и, стоя посреди улицы, орал во все горло:
- Христос воскрес из мертвых...
- Лошади в испуге шарахались в сторону.
- Ma tante⁸, – говорил Коко, – Христос воскрес!
- Воистину...
- А поцелуй?...
- Я не христосуюсь.
- Но я же племянник.
- Мало ли что, но вы мой ровесник.
- Но, ma tante, ведь Христос же воскрес!
- Знаю, знаю! Но о поцелуе и думать нечего!..
- Вы после этого не христианка.

Все ликовало, все радовалось. Звон рос с каждым часом. Лихачи мчались все быстрее. Генералы, офицеры, студенты, лицеисты, гимназисты, штатские, на парах, на рысаках – все двигалось, торопилось, несло, как ураган.

Христос, никем не замеченный, прошел через весь город. По-прежнему за ним в отдалении шло несколько человек.

Выйдя за город, Христос остановился. Старый-старый старичок, не решаясь подойти к Нему, встал на колени и прошептал:

- Воистину, воистину воскрес!..

⁸ Моя тетя *франц*).

III

Макаровну попутал нечистый. У соседки был чулан, замок на нем висел полусломанный, а в чулане хранились пустые бутылки, которыми соседка торговала.

Пришла Макаровна вечером уставшая, голодная: никто не купил ее семян. Ни денег, ни хлеба... И приди ей на ум забраться в чулан и украсть пустые бутылки. Старуха она старая, забрала бутылок много, пошла и упала на дворе. Соседка ее, у которой она украла, с бутылками этими и подняла. Пришел дворник, составили протокол. Макаровну отдали под суд.

Макаровна просидела в тюрьме недолго: боялись, что не доживет до суда. Во имя правосудия дело ускорили. На первый день Фоминой недели под конвоем доставили в суд.

Макаровна покорно дожидалась своей очереди. Только глупые слезы сами собой бежали по ее морщинистому лицу.

«Украла, согрешила, – думала Макаровна, – поделом мне. Суд царский! Заботится он об нас!»

Дошла очередь до Макаровны. Ввели ее в залу суда.

Перекрестилась она на образ и поклонилась на все четыре стороны.

– Как вас зовут? – спросил председатель.

– Макаровна.

– Это отчество, а имя ваше?

– Марья Данилова.

– Сколько вам лет?

– На Казанскую семьдесят три было...

– Господин судебный пристав, – сказал председатель, – нельзя ли закрыть в коридор дверь и попросить не шуметь.

Пристав пошел исполнять приказание.

А в коридоре в это время происходило нечто странное. Какой-то человек в белой одежде, напоминающей рясу, не слушаясь сторожей, шел к зале заседаний. И там, где Он проходил, люди останавливались, словно прикованные к своему месту.

– Ваш билет? – спросил сторож неизвестного.

Но Он тихо взял его руку, отстранил и прошел далее. И сторож также остался неподвижно прикованным к своему месту.

Христос взошел в суд.

В непонятном смятении, словно застигнутые на месте преступления, присяжные встали со своих мест. Публика отшатнулась от решетки, через которую смотрела. Члены суда, прокурор быстро подошли друг к другу. Один председатель, не двигаясь, сидел на своем месте.

– Прошу вас удалиться из залы заседаний! – с трудом выговаривая слова, сказал он.

– «Не судите, да не судимы будете, – раздался голос Христа, – ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такую и вам будут мерить»⁹.

Макаровна, услышав знакомый голос, упала на колени и, вся просиявшая, словно молодость вернулась к ней, проговорила:

– Батюшка, Спаситель наш, прости меня грешную... украла... с голоду...

– Господин пристав, – строго сказал председатель, – распорядитесь убрать отсюда этого сумасшедшего.

Но старичок пристав не мог сдвинуться с места.

⁹ Нагорная проповедь. Евангелие от Матфея (7:1–2)

Христос повернулся к присяжным и сказал:

– «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: „Дай, я выну сучок из глаза твоего“, а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего»¹⁰.

– Позвольте вас предупредить, – возвысил голос председатель, – что виновный в оскорблении суда подлежит строгой ответственности!

– Помяни меня, родименький, во Царствии Твоем! – прошептала Макаровна и упала на пол.

Жандарм попробовал было поднять ее, но она грузно опустилась снова.

– Померла, ваше-ство!

– Объявляю перерыв на полчаса, – сказал председатель. – Уберите этого!..

Но Христос стал невидим.

Медленно прошли в свою комнату присяжные. Молча стала расходиться публика.

Макаровну унесли.

¹⁰ Нагорная проповедь. Евангелие от Матфея (7:3–4)

IV

Был храмовый праздник в церкви Вознесения. Народу набралась такая масса, что даже оба клироса были переполнены. Перед иконой праздника, словно горящий сноп соломы, ярко пылали свечи.

О. Никодим в лучших светлых ризах чинно совершал литургию. Он был человек простой, набожный. Любил свой храм, любил хороших певчих и особенно кадильный дым. Эта любовь осталась у него с детства; бывало, отец приходил от всенощной благословлять его на сон грядущий, от него так славно пахло ладаном.

Староста у входа едва успевал продавать свечи и просфоры. Деньги звонко звякали на всю церковь, смешиваясь с тихим пением церковных гимнов.

– Не задерживайте; проходите, проходите, – мягко, но внушительно говорил староста тем, которые останавливались у конторки проверять сдачу.

Христос вошел в этот храм и вместе с прочими подошел к конторке, где продавали свечи.

– «Возьмите это отсюда, – властно сказал он, – и дома Отца Моего не делайте домом торговли»¹¹.

– Что такое! Грабят!.. Батюшки!.. – понеслось по церкви.

– Что вам угодно? – спросил староста.

– Уйдите отсюда. Не делайте дом Отца Моего домом торговли! – снова повторил Христос, и в голосе Его была сила и власть.

– Я попрошу вас не нарушать тишины в церкви, иначе придется позвать сторожа и городского.

Гневом вспыхнуло лицо Христа. Голос зазвенел на всю церковь, словно глас трубный. Он опрокинул стол, на котором лежали свечи и просфоры, рассыпал деньги:

– Идите прочь отсюда! Здесь дом Отца Моего.

И слова Его жгли как огонь. Трепет и смятение ужаса пронесли по церкви.

– Не стыдно скандалничать? – обратился к нему сторож. – Ведь здесь тебе не базар – храм Божий.

Богослужение прекратилось. Народ обступил Христа и старосту.

Христос говорил:

– «Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе»¹².

О. Никодим подошел к толпе и, вслушиваясь в слова Христа, строго сказал ему:

– Неподобающее говоришь. Храм православный бесчестишь.

– «Бог не в рукотворенных храмах живет! Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине»¹³.

В это время расслабленный, который все время на грязной циновке лежал у входа, подполз к ногам Христа.

– «Дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои»¹⁴, – обратился к нему Христос.

¹¹ Евангелие от Иоанна (2:16–17)

¹² Евангелие от Иоанна (4:23–24)

¹³ Деяния святых апостолов (7:48)

¹⁴ Евангелие от Матфея (9:2)

– Богохульствуешь! – гневно воскликнул о. Никодим. – Кто дал тебе власть грехи прощать?

Христос повернулся к нему:

– «Что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи»¹⁵, говорю ему: встань и иди домой!

И на глазах у изумленной толпы расслабленный, как здоровый, поднялся с полу, в ноги поклонился Христу и благоговейно поцеловал край Его одежды.

Тихо, опустив голову, о. Никодим пошел в алтарь.

¹⁵ Евангелие от Матфея (9:5–6)

V

Была ночь. Старичок Сила, ночной сторож, приютил Христа у себя на ночлег.

– Все равно каморка пустая ночью, спи себе на здоровье.

Христос не спал, сидел у открытого окна.

В дверь постучали.

– Это ты, Сила? – окликнул Христос.

– Можно? – произнес за дверью дрожащий голос. Дверь отворилась. В темноте нельзя было разобрать лица вошедшего.

– Кто это?

– Это я, о. Никодим... Я пришел к Тебе поговорить. Ты сегодня свершил чудо. Я знаю, что ты учитель, посланный от Бога... Но в то же время слова твои так странны...

– О каких словах говоришь ты?

– О нерукотворенном храме. О Боге, которому нужно поклоняться в духе и истине.

– «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия»¹⁶.

– Да, но не учил ли Христос две тысячи лет тому назад, что Он созиждет церковь, и врата адовы не одолеют ее.

– Не про вашу церковь сказаны эти слова.

– Но про какую? Где же другая церковь?

– «Дух дышит, где хочет»¹⁷.

– Послушай, кто бы ты ни был, я вижу, что тебе открыто многое. Скажи, ведь церковь должна была развиваться, крепнуть, изменяться. Не могли же при Христе так же молиться, как в наше время. Не могло быть архиереев, митр, таких облачений, колоколов. Не могло быть всего того, чем богата православная церковь. Но пойми, это доказывает рост церкви. Церковь создается воистину. Ее изменения есть переход юности в возраст мужа. Церковь не отменяет Евангелие, но она толкует его. Ее толкование есть раскрытие, уразумение тех истин, которые заключены в Евангелии.

– Так говорили книжники и фарисеи две тысячи лет назад, – тихо сказал Христос. – Они извратили закон Моисеев. Они завесили уши народа, и он перестал слушать глас Божий; заповеди Его они умертвили толкованиями своими. И все это во имя торжества Божьего дела на земле. Рост не в колокольных, не в архиереех, не в клиросе, не в ваших торгашах свечами – рост Церкви в духе и истине сынов Божиих. Когда Мои апостолы шли на проповедь без серебра и золота, ужели это было ниже, чем выезды ваших архипастырей! Ужели рост Церкви – золото и серебро храмов ваших, когда братья ваши умирают от голода и нищеты!

– Но если так, если ты прав, учитель, то тогда Церкви нет. Церковь от Христа отреклась; не сбылись пророчества Христовы. А тогда Христос не Бог, и мир неискупленный лежит во зле. Пойми, что кроме Евангелия есть еще предания. По ним из поколения в поколение жила Церковь, и когда теперь она дошла до своего могущества и торжества, ты хочешь отречься от нее и все вернуть к первобытному христианству. Да знаешь ли, если бы сейчас пришел Сам Христос и потребовал бы, чтобы Церковь восстановила старое учение Его апостолов, еще неизвестно, послушалась бы Его Церковь или нет! Скорей, не послушалась бы – и была бы права. Христос ниже Церкви.

– Да, потому что люди более возлюбили тьму, нежели свет; потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились

¹⁶ Евангелие от Иоанна (3:3)

¹⁷ Евангелие от Иоанна (3:8)

дела его, потому что они злы! И книжники и фарисеи поставили свой человеческий закон, обычай, предания выше голоса Божия; и храмы их стали мертвы, а дух Божий дышал не среди их роскошных храмов, а среди Моих учеников, простых рыбаков. Ты спрашиваешь: где Церковь? Церковь там, где двое или трое собираются во имя Мое. А собираются во имя Мое там, где любовь, где правда, где таинственное благодатное общение. Церковь и в ваших храмах, но не в золоте их, не в ризах ваших, не в блеске ваших владык. Церковь ваша на паперти, где стоят нищие и убогие – дети мои. Если Церковь не в любви была бы, то в чем же? Не сама ли Церковь ваша на соборах своих устанавливала правила отлучать епископов, если их поставит светская власть, если они переменят кафедры свои, если не будут собирать соборов; священнослужителей – за взимание денег за требы, мирян – за то, что не всегда пребывают в молитве. Где же хоть один верующий в Церкви, который бы не был отлучен от нее на основании собственных постановлений Церкви?

– Учитель, ты не прав. Изменяются времена, изменяется строгость в исполнении правил. Ты забыл, что кроме жизни в Боге существует еще быт. Христианству евангельскому надо считаться с бытовым, примирить его с собой, уступить ему.

– Нет, кто хочет быть учеником Моим, тот должен отвергнуться себя, всех привязанностей житейских, всех привычных условий жизни, взять крест Мой и идти. И при апостолах Моих тоже существовал быт, но они не учение Мое исказили ради этого быта, а перевертывали всю жизнь, все понятия. «Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня»¹⁸.

– Странно говоришь ты... Но Христос пришел к слабым, а ты требуешь силы.

– Что невозможно человеку, то возможно Богу!

– Но почему же Церковь наша так велика, так могущественна?

Христос поник головой Своей.

– Ты молчишь?

Христос молча поднялся со своего места. Лицо его светилось во тьме, и глаза сияли.

О. Никодим тоже встал.

– Учитель... кто ты?

– Христос воскресший!..

– Я ослышался... Ты богохульствуешь! – в ужасе отстраняясь от Него, воскликнул о. Никодим.

Но в это время свет окружил голову Спасителя, и образ Его, знакомый по нерукотворенной иконе о. Никодиму, ясно выступил из темноты.

¹⁸ Евангелие от Матфея (10:38)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.